

Г о р а н П е т р о в и ч

ОСАДА ЦЕРКВИ СВЯТОГО СПАСА



П А Л Ь М И Р А

Горан Петрович
Осада церкви Святого Спаса

«РИПОЛ Классик»

1997

УДК 82/89
ББК 84.4Ю

Петрович Г.

Осада церкви Святого Спаса / Г. Петрович — «РИПОЛ
Классик», 1997

ISBN 978-5-521-00435-5

Роман «Осада церкви Святого Спаса» сербского писателя Горана Петровича основан на реальных исторических фактах, хотя сам писатель не претендует на роль историографа и умело стирает грань между реальными и вымышленными событиями. Приблизительно в 1291 году объединенное войско болгар и куманов вторгается в Сербию и полностью разрушает монастырь Жича. Петрович изящно и кропотливо плетет ткань повествования. Из незначительных мелочей, потрясающих метафор возникают незабываемые персонажи, явь и сон плотно переплетаются между собой.

УДК 82/89
ББК 84.4Ю

ISBN 978-5-521-00435-5

© Петрович Г., 1997
© РИПОЛ Классик, 1997

Содержание

Книга первая	6
Первый день	6
Второй день	8
Третий день	19
Четвертый день	26
Пятый день	35
Книга вторая	43
Шестой день	43
Седьмой день	45
Конец ознакомительного фрагмента.	54

Горан Петрович

Осада церкви Святого Спаса

© Горан Петрович, 1997

© Савельева Л. А., перевод на русский язык, 2017

© Оформление. ООО «Издательство «Пальмира», АО «Т8 Издательские Технологии»,
2017

* * *

*И вzywали они друг ко другу, и говорили:
Свят, Свят, Свят Господь Саваоф!
Вся земля полна славы Его!
(Книга пророка Исайи 6,3)*

Книга первая Серафимы

Первый день

Перед церковными вратами, праздник всех праздников и торжество всех торжеств

И в тот святой час, после бдения и свершившегося полуночия, со славой возложили плащаницу на честной престол в алтаре.

И когда все множество народа стало исходить из Божьего дома, чтобы трижды обойти его крестным ходом, пронося древки с хоругвями, златотканые Христовы знамена, церковь осталась пустой.

И другое множество взволнованно теснилось по всему монастырскому двору, стараясь протиснуться поближе к пению, которое вместе с крестным ходом все громче продвигалось вдоль самых стен монастыря.

И было так – от пения того постепенно все более жаркими делались огненные искры, которые живут в пурпурном цвете этого храма:

- Воскресение Твое!
- Христе Спасителю!
- Ангелы поют на небесах!
- И нас на земле удостой!
- С чистым сердцем Тебя славить!

А собралось их столько на этот праздник всех праздников и торжество всех торжеств, что многие остались за пределами монастырского двора. И отовсюду, по большой дороге, по проселкам, по крутым горным тропам, из мест, удаленных на несколько дней пути, продолжали идти люди, влекомые заповедью своих сердец. И никто из них, ни достойнейший иерарх, ни преданнейший монах, ни убогий человек Божий, ни даже тот, с глазами цвета тамариска, не подумал бы, что со всех сторон стеной стояла ночь. Потому что колокола во всю ширь раздвигали ночную тьму, а мерцание сотен восковых свечей сливалось в чистейший свет, который своей полнотой превосходил ясный день. Нигде не было ни уголка темноты, в котором могла бы спрятаться тень. Металлический отблеск с куполов заставлял мрак подняться высоко вверх. Перед западным входом каждый, кто обладал даром речи, радостно восклицал:

- Христос воскрес из мертвых!
- Христос воскрес из мертвых!
- Христос воскрес из мертвых!

Тем временем, хотя процессия трижды обошла вокруг церкви, врата открылись не сразу, точно так же как не сразу поверили ученики Христовы. Ширился повторяемый всеми псалом Давидов:

- Да восстанет Бог!
- И расточатся враги Его!
- И да бегут от лица Его ненавидящие Его!

Стиху пророческому отвечало пение. Пение тем более усердное, что исходило оно от тех, кто все сорок дней поста добрыми делами, воздержанием от греха и чревоугодия готовил свою душу и тело к благолепному празднику и святому причастию.

– Христос воскрес из мертвых!

И чудесным образом к этому хору присоединились крапивники в кронах деревьев. Нараспев выкликали и они. Со стороны пчелиных ульев слышалось густое жужжание. Стебли трав шептали, что зреют. Стаи мальков гнали рябь по застывшей воде озера, заставляя ее непрерывно струиться. Воистину это было свершением того, о чем говорят таинственные слова канона: «Всякое творенье пусть славит праздник воскресенья!»

– Христос воскрес из мертвых!

А потом самый старший из всех, архиепископ Иаков, облаченный в великолепный саккос, держа в одной руке золоченый крест, а в другой серебряное кадило с ладаном, крестообразно окадил закрытые ворота. Церковная дверь, массивная, дубовая, окованная железом, по этому знаку распахнулась в притвор. И все по порядку, и иерархи, и все другие, стали заходить в храм. Снова на восток. Как и Христос из самой глубокой части земли достиг самого высокого неба.

– Христос воскрес из мертвых!

Сразу за его преосвященством Иаковым ступали пресвитеры, дьяконы, иподьяконы и чтецы. За ними следовали певчие во главе с протопсалтом. Рядом с монастырским игуменом, преподобным Григорием, шел особо важный гость, королевский духовник Тимофей. Его направил в некогда архиепископский монастырь сам великоименитый Стефан Урош II Милутин, по воле Божьей властелин земли сербской и поморской, с тем, чтобы доставил оттуда частичку пасхального канона св. Иоанна Дамаскина, который поют, конечно, повсюду, и в церквах Скопье тоже, но именно в Спасовом доме звучит он особенно радостно.

– Христос воскрес из мертвых!

Потом шли эконоом и экклесиарх. Грамматик, ризничий и казначей. Старцы с умиленными сердцами. Молодые монахи и послушники. Затем свита архиепископа Иакова, он, преданный своему делу, уже завтра отбывал в Печ по неотложной надобности.

– Христос воскрес из мертвых!

За людьми церковными следовали миряне. Среди них со слугой своим и купец из Скадара, возвращавшийся с севера и воспользовавшийся в пути здешним гостеприимством. И еще один больной, которого поддерживали другие люди, просил дать ему место. И еще, и еще, столько людей, сколько могла вместить церковь Святого Спаса.

Жича наполнялась запахом ладана, как утренним миром мироносиц, которые, ища мертвого, поклонились Живому.

Жича наполнялась светом как огнем негасимым.

Жича наполнялась великим, победным пением.

И тихим разговором...

Второй день

I

О древнем горнорудном деле у византийцев

Всю раннюю весну по небу над Битинией плывут огромные горы облаков. Коварные морозы обращают в лед выманенные обманом звезды. Тем не менее с конца месяца марта прорываются первые искры. Громады тумана неохотно раздвигаются. Напоследок, одна за другой, со стонами и скрипом, прощаются со своим могуществом. Некоторые совсем исчезают. Свет, теперь уже ничем не стесняемый, со все большей силой вырывается из далеких глубин, по всей ширине небесного свода начинают проглядывать созвездия, круг луны переполняется. Лунный свет, пенясь, длинными струями низвергается с высоты.

Внизу, на земле, мощные песчаные насыпи разделяют дороги и поля. Одним склоном они защищают пути от паводков, другим охраняют от воров россыпи лунного света. На рассвете начинается сбор урожая. Все, к чему прикоснулись первые солнечные лучи, – это серебро. Тот лунный свет, который зреет в полях до полудня, набирает силу и обращается в груды свинца. А тот, что остается до прихода оранжевого заката, становится железной рудой. Следующей ночью все повторяется. Луна снова наполняется светом, сияние переливается через край и беззвучно рассыпается по просторам Восточной империи.

По указу василевса в такие ночи не позволено выходить за городскую стену. Тяжелое наказание неминуемо настигнет и всякого неосмотрительного, у кого лунный свет обнаружат на подошвах, и уж тем более отчаянного, попытавшегося спрятать его в суме или за пазухой.

II

Однажды такой ночью

Однажды такой щедрой ночью, почти за пять лет до яви и дневного света, царица Филиппа во сне покинула свою опочивальню, во сне вскочила в седло и во сне незаметно выбралась за реальные очертания городских укреплений Nikei. Вторая жена кира Феодора Ласкариса, армянка с угольночерными глазами и темными волосами, часто покидала своего господина во сне. Не делать этого она не могла, желания ее находились слишком далеко, а на всех перепутьях и перекрестках стояла стража. Чем больше наполнялась луна, тем глубже погружался в сон царь, так что и в эту плодоносную ночь Филиппа втайне от всех передвигалась по битинийским полям, отдавшись течению собственных стремлений. Белый конь скакал по колена в лунном свете, сияние которого изливалось непрерывно, одежды императрицы тотчас стали влажными, а тело ее подверглось нападению бесчисленного множества сверкающих искр, которые постоянно жалили ей щеки, руки и обнаженные голени.

Вдруг белый конь, заржав, поднялся на дыбы. Впереди, посреди беспутья, стоял какой-то монах с длинными волосами и бородой. Беспокойные волны лунного света разбивались о его босые ноги, как о скалистый утес. Молодой женщине едва удалось справиться с уздечкой,

плащ от ветра соскользнул с ее плеч. Вслед за плащом упало и легкое покрывало, обнажив судорогу страха:

– Кто ты такой?! Что тебе нужно в моем сне?! Прочь с дороги, незнакомец!

Монах, однако, всего лишь отвел взгляд. Острый луч рассек тонкое полотно, в которое была одета всадница, – ее грудь, похожая на только что сорванные яблоки, была прикрыта лишь тончайшей накидкой из прозрачного света.

– Кто ты такой?! Знаешь ли ты, что перечишь воле Филиппы, жены василевса Феодора Ласкариса, властелина Никейского царства! – повторила правительница в паузе между двумя шумными волнами лунного света, и к страху добавились морщины.

– Да, я знаю о тебе, Филиппа, – ответил наконец монах. – Не бойся, я иду по своим делам. Я вне твоего сна. Огромное, неоглядное пространство для всех разветвлений сна едино. Вот мы и встретились в этой области провидения. Ты из Никеи бежишь, а я направляюсь в Никею, несу сыну нужный ему совет.

Царица почувствовала облегчение. Она уже хотела потянуть уздечку, чтобы проехать мимо путника, но монах вытянул вперед обе руки:

– Постой! Неужели ты думаешь, что наши пути скрестила случайность? Послушай меня. Я не собираюсь показываться на глаза твоему мужу. Никакой особой нужды в этом нет. В пяти годах отсюда, в Никее, куда я сейчас иду, жену кира Феодора Ласкариса, его третью жену, будут звать Мария Куртенэ! Ты же останешься в памяти всего лишь как вторая, та самая, бесплодная, из Малой Армении. Поэтому, Филиппа, даже не возвращайся! Этой ночью ты зачнешь и станешь матерью, но тебе не суждено родить в столице Византии!

Царица Филиппа, изумленная, задрожала, подхватила свой плащ, пришпорила коня и галопом устремилась в то ответвление сна, где бурлил источник ее намерений. Вскоре, закутанная в витые края ветра, она исчезла за горизонтом по снящейся ей дороге.

III

Серебряные зерна и узорный пояс звуков

Итак, на пять лет дальше, сразу после благолепного божественного праздника Христова воскресения, когда он был посвящен в сан архиепископа сербского, перед возвращением на землю отечества, неподалеку от развилки марта и апреля, последней ночью в Никее, явился неожиданно в сон к Саве родитель его, святопочивший монах Симеон. Седая борода и волосы некогда могучего самодержца, милостивого великого жупана Стефана Немани были влажными после долгого пути под звездными искрами. По мокрой рясе на каменный пол Савиной кельи капля за каплей стекал блеск луны. Вокруг босых ног путника уже скопилось множество крупных и мелких зерен. Битинийская ночь была особенно тиха, только откуда-то издалека едва доносился шум ткацкого станка, который из тончайших нитей криков совы, монотонного стрекотания сверчков, тяжелого дыхания земли, журчания воды и редких звуков человеческих голосов ткал внешний вид времени.

– Отец, откуда ты? – прошептал застигнутый врасплох Сава, поворачиваясь в постели. – Что тебя заставило навестить меня, странствующего, под сводом далекой Никеи? Разве ты не знал, что завтра я отправляюсь к тебе, чтобы на могиле твоей в Студенице, воссияв, объявить, что наша церковь обрела самостоятельность?

– Мне хорошо известно, утеха души моей, и твои пути, и что у тебя на сердце лежит, – ответил Симеон спокойно, как и пристало говорить тем, кто давно привык точно отмерять слова. – Твои глашатаи уже широко разнесли весть о великой победе. Уже высоко вверх звонят колокола, живым звоном оповещая о твоём рукоположении. Но ты завтра отправляешься

в путь, и какой отец отпустит своего сына без совета. Воды будет от источника до источника, соли в заструге у тебя достаточно, хлеба, без сомнений, хватит до Солуна, однако нога может заплутать, а душа свернуть не в ту сторону.

Луна скрипнула на небе. Сияние наполнило ее до краев. На землю пролились новые лучи. Ветер Тиховой с шелестом запутался в ветвях деревьев. Откуда-то протяжно подал голос волк. Послышались окрики, звяканье оружия царских стражников. Должно быть, заметили кого-то в полях лунного света. Далекий ткацкий станок закончил ткать узор и зазвучал громче, плотно сплетая нити в поясе времени.

– Дитя мое, прошу тебя держать в уме то, что сейчас услышишь, – продолжал Симеон. – Завтра утром вселенский патриарх Мануил Сарантин одарит тебя благословением, грамотами, поучениями, святым жезлом, достойнейшим одеянием. И василевс византийский, кир Феодор Ласкарис, защитник Ромейского царства, не захочет отстать от него, пожалует всему твоему роду разрешение добывать в полях лунный свет, тебе же подарит четырех мулов с пурпурными выючными седлами. В придачу, как груз для мулов, эти двое милосердных будут предлагать тебе и огромные богатства. Спросят, желаешь ли взять серебряные и золотые сосуды, евангелия в окладах с драгоценными камнями, златотканые покровы и занавеси, и бесчисленное множество других сокровищ. Но ты, сын мой возлюбленный, от всего этого откажись. Пусть все предложенное тебе патриарх и царь пожертвуют монастырю Хиландар, украшению Святой Горы. Ты же, свет очей моих, испроси для себя четыре никейских окна. Запомни, проси патриарха и царя дать тебе только четыре окна.

– Четыре окна?! Зачем же я привез из Царьграда и греческих земель искуснейших камнерезов! Родитель, зачем мне сейчас из Никеи тащить с собой окна, да еще на пурпурных седлах?! – беспокойно заворочался Сава, и сон его чуть было не опрокинулся туда, где явь.

– Выслушай до конца, – шепотом преградил ему путь Симеон. – Не просыпайся, не делай напрасными мои усилия. Ты ошибаешься, ценность окна не в том, из чего и насколько мастерски оно сделано, а в том, что через него видно. Первое окно проси то, на которое прилетает ласточка патриарха. Вторым и третьим пусть будут окна, возле которых царицы провожают и встречают своих государей, когда те отправляются на битву и возвращаются после нее. А четвертое, которое ты должен потребовать, это то, на котором отдыхает двуглавый орел самого василевса. И вот еще что, Сава, на чужбине любые сны, кроме снов об отечестве, с трудом задерживаются в памяти, и если ты позабудешь, что я тебе говорил, отправляйся с утра на площадь, найди человека – слепого, который широко видит, – и купи у него то, что он тклет в темноте. Вот и все, что я хотел тебе сказать и зачем приходил, а теперь смотри сны, какие сам хочешь.

Так сказал монах Симеон. И исчез без следа. Лишь на полу в келье остались тысячи рассыпанных переливающихся зерен лунного света.

А сам Сава в ту последнюю ночь в Никее действительно продолжал спать и видеть сны. Он знал – во сне дороги особенно богаты направлениями. Снился Саве монастырь Филокал, где он собирался отдохнуть по пути назад, в страну Рашку. И снился ему монастырь Жича, в котором он сразу после возвращения намеревался закончить строительство церкви Святого Спаса. И еще снился Саве монастырь Студеница, куда хотел он напоследок удалиться, чтобы в одиночестве как следует обдумать разные богоугодные дела. Может быть, снилось ему и еще что-то, но все видимое в конце концов попадает в те сферы, где правит безвидность.

IV

Разговор на площади, какой пояс приличествует монашеской рясе

Между тем, проснувшись с первыми лучами солнца, его преосвященство никак не мог вспомнить, что с ним происходило, пока он спал. Вернее, он еще худо-бедно припоминал и Филокал, и Жичу, и Студеницу, но вот с кем во сне разговаривал – никак. Тем не менее о том, что кто-то его навещал нынче ночью, свидетельствовали рассыпанные по полу зерна лунного света. Ноги по щиколотку погрузились в них, стоило ему встать. Стараясь и так и сяк вызвать в памяти сон, Сава с хиландарскими братьями отправился на литургию. По выходе из церкви на него снова навалилось то же мучение. Полагая, что следовало бы разузнать свежие вести о положении на дорогах – сведения, необходимые в случае, когда собираешься отъехать от города даже на расстояние тени его стен, Сава выбрал улицу, по которой толпа стекала на главную городскую площадь, уже до краев наполненную выкриками продавцов птиц, сушеных фиников, безделушек, дубленой кожи, бальзамов, шерсти, мельниц для перца, фальшивых и настоящих реликвий. Вдруг среди всего этого гама он заметил слепого старика, молчаливого на вид, а в руках у него одну-единственную вещь, которую он продавал, – кусок ткани длиной в столько звуков, сколько их вмещает промежуток времени от сумерек до рассвета.

– Святогорцы, куда так спешите! Погодите!

– Вот губка, пропитанная кровью мученика!

– Стекло со слезой Марии Магдалины!

– Прутья, которыми хлестали Иисуса...

– Натаф!

– Гальбан!

– Порошок из оленьего рога! Отбеливает зубы! Раз почистил – улыбайся десять дней!

– Не хочешь – не надо! Не мое дело, ходи хоть всю жизнь хмурым!

– Натаф! Натаф! Ароматические ракушки и гальбан! Нет хорошего ладана, если их не добавишь!

– Пою хвалебные песнопения, веселые свадебные песни и грустные соболезнования! Десять песен всего за одну миногу или кусок тунца! Пою хвалебные песнопения, веселые свадебные песни и грустные соболезнования...

– Погляди на эту рыбу! Сам domestiкус такую нечасто ест! Только вчера поймали! У каждой брюхо набито свежестью, петрушкой и молотым миндалем!

– Отгадываю любые загадки, кто бы их ни выдумал, Евстатий Макреболит, ученейший Никифор Просух или сам достойнейший Ауликалам! Не угадаю – плачу сам!

– Поле – белое, волы – черные, пастух – перо. Кто угадает – молодец!

– Письмо!

– Давай следующую, но на кон в десять раз больше: видел я, господин мой пресветлый, внутренним взглядом юношу-старца, двояко воплощенного в одном лице, высокого и приземистого, нетвердого и крепкого, светоносца, несущего тьму, палача и целителя, который одних из-под земли извлекает, а других в землю загоняет, всех спасает, кого уничтожит, опять из них новое создает?

– Примочка на шею, мелко нарезанный дождевой червяк!

– Сушеное вороново сердце! Каждому, кому нужна удача в игре! Одно сердце – один золотой! Сушеное вороново сердце!

– Хитоны!

– Предсказываю судьбу! Гадаю по печенке, по лопатке, по пятке, по пшеничным зернам! Узнай, что ждет тебя завтра! Если ошибусь – отдаю деньги назад!

– Ты, я вижу, простак, не слушай его! Это же обычный бродяга! От Гераклеи и до самого Милета нет города, откуда бы его ни изгоняли по крайней мере два раза! Он не знает даже, чем ты будешь ужинать! Если тебе нужно настоящее предсказание, то, ей-богу, считай, тебе повезло, что ты меня встретил! Ко мне, хоть из Эпира, хоть из соседних сел, народ идет, чтобы лично я истолковал им гороскопы, громовники и трепетники!

– Хозяйка, красавица, не стыдись, подними взгляд! Клянусь святым Андреем Первозванным, похлебка в этом котле, хоть три дня простоит, не прокиснет!

– Из серебра кованые крепкие ноги, сильные руки и острые глаза! Если, не дай бог, твои тебе плохо служат, не трать деньги на медикусов, купи пластинку с изображением, приложи к больному месту и пожертвуй чудотворной иконе!

– Страусиные яйца! Если связать их и подвесить на балку, твой жалкий шепот будет звучать как приказание владыки! Где ты еще такое видал?! Всего за один гиперпирон самая бедная лачуга зазвучит как настоящий дворец!

– Птица породы фазтон! Ее песни сами императрицы носят на шее нанизанные как бусы!

– Сам посмотри! Пара бекасов-куликов!

– Дрозд! Черный дрозд! Самая полезная птица! Обещаю, с утра пораньше всех клещей в саду уничтожит! Сможешь без страха ходить босиком по молодой траве!

– Настоящий ибис! Честью клянусь, перьев ему не красил!

– Тихие истории, рассказываю рассказы, тихие истории, рассказываю рассказы...

– Подойди, попробуй! Почти не ношенный, совсем новый титул протоспатиара!

– Корица!

– Смирна!

– Алоэ!

– Эбеновое дерево!

– Приятель, отвали-ка! Нюхать пришел?! Смотрите, какой умный, решил бесплатно нанюхаться сандала?! Пошел вон, слышишь, пока я тебе нос не расквасил!

– Мука из бобов! Для омоложения кожи лица! Старух превращает в девушек!

– Молитва против беглого раба!

– Против бессонницы!

– От неуверенности в себе!

– За выигрыш судебного дела!

– Против зубной боли!

– Чтоб не потонуть, переправляясь через реку!

– Против задержки мочи!

– Не стесняйся, только шепни, что тебя мучит!

– Торгую временем! Покупаю любое, даже самое короткое настоящее! За прошлое даю будущее, будущее меняю за некогдашнее!

– Солнечный день с Самоса!

– Самая прекрасная неделя из Ахай!

– Три осенних месяца с Лемноса!

– Тот год, когда Константинополь был в зените своей славы!

– Сабах хайросум! Торговаться? Если ты христианин, отдам задаром будущие столетия, связанные вместе, их привезли прямо с базара из Иконийского султаната!

– Вести с царских дорог!

– Ослиные копыта! Возьми для мужа против облысения!

– Старец, сколько стоит твоя работа? – спросил Сава, как только ему удалось пробиться через все эти выкрики.

– Мне нужно только одно обещание, – ответил слепой старик, который, казалось, только и ждал Саву с этим вопросом. – Твердое слово твое и всего твоего рода. Обманешь, долг будет большим, таким большим, что если душами следующих поколений будешь расплачиваться, на сто поясов отсюда, это будет не больше соломинки по сравнению со стогом!

– Что?! Несчастный! Как ты разговариваешь! Воистину, ты слеп, раз не знаешь, что перед тобой архиепископ сербский! – накинулись на него хиландарские черноризцы.

– Не возводи хулы! Каждое слово Савино крепче камня! Пустых слов нет у него!

– Хм, – пожал плечами старик. – И правда, земного зрения у меня нет, однако и те, у кого оно есть, пользуются им нечасто. Тем не менее я знаю, что даже самое короткое слово длится дольше человеческого века, а коль есть что-то настолько длинное, значит, оно может и запутаться, и порваться.

– Итак? Чего же ты требуешь? – снова спросил Сава.

– Я хочу, чтобы ты, как придешь в свои покои, хорошенько вытрусил эту ткань, которую я соткал сегодня ночью из звуков. А когда сделаешь это, пусть никто – ни ты, ни весь твой род, как до, так и после тебя – никогда не открывает два окна одновременно...

– Потому что будет страшный сквозняк! – пошутил один из монахов, достаточно молодой, чтобы вступить в спор относительно предмета насмешек.

– Потому что поднимется такой сильный ветер, что сдует не менее двух горизонтов!

– Такой, что нам всем придется зажмурить глаза!

– Такой, что, может, он в конце концов сровняет горы с землей, и нам не придется ломать ноги по крутизне! – загалдели и остальные братья – ведь трудно удержаться от зубокальства, хочется хотя бы попробовать.

Сава, однако, утихомирил монахов. Смехом легко подпоясывают себя артисты, певцы, а в осенние дни и виноградари. Рясе же не приличествует такое поверхностное украшение. Рясе достаточно и грубой веревки.

– Крепко подвязанной, чтобы ваши тела постоянно помнили о сдержанности, страданиях Христовых и обязанностях, вытекающих из веры отцов, – выговорил он двоим, самым шумливым.

Взяв у слепого старика пояс, Сава пообещал ему все, о чем тот просил, и направился в свои никейские покои, пробираясь сквозь выкрики толпы, которая сейчас на площади, забавы ради, глазела на то, как наказывают какого-то вора, укравшего лунный свет.

– Малый, постереги тут мои прибаутки, охота хоть одним глазком поглядеть! Вернись, расплачусь с тобой стишками!

– Эй, дружище, палач-то уже здесь?

– Здесь.

– И колода готова?

– Готова.

– А топор?

– И топор. Ну что ты ко мне пристал?! Хочешь, чтоб я тебе все задаром пересказывал?! Если ты такой любопытный, давай две трески, и я уступлю тебе место в первом ряду!

– Молчишь?! А то все спрашивал, спрашивал, то одно, то другое! Все уши прожужжал! Теперь жмотишься?! Неужели пропустишь такое представление?!

– Ну, ладно, скряга, я согласен и за одну рыбку, только смотри, чтобы тебе кровью хламиду не забрызгало!

– Надо же, вот бедняга! У кого же ты крал лунный свет?!

– А этот-то откуда взялся?!

– Ну-ка, подвинься!

- Эй ты, головастый, тебе говорят, пригнись!
- Ты чего, ты чего?! На слабого руку поднимешь?! Какой боевой! Я и не думал тебя оскорблять, просто сказал, что ты своей тыквой мне все загораживаешь!
- Спорим, что ступня, которую ему отрубят, потом еще по всей площади плясать будет!
- Ну, что я говорил?! Смотри, как скачет!
- Прямо как под музыку цимбал и барабана с тарелками!

Вступив в мертвую тишину кельи, его преосвященство высоко поднял ткань. Потом сильно встряхнул ее. В тот же миг вся ткань распустилась.

Келью наполнили звуки прошедшей ночи. Сава снова услышал крик совы, скрип луны, шум ветра, вой волка и сказанные в его сне слова родителя: – Дитя мое, попроси у вселенского патриарха и византийского императора погрузить на мулов под пурпурными седлами четыре окна. От всего остального хочешь отказывайся, хочешь не отказывайся, но четыре окна проси, потому что без них ты ничего не узришь, потому что без их горизонтов церковь Святого Спаса останется слепой.

V

Был полдень, час печального расставания

Вскоре, когда пришло известие, что состояние на дорогах удовлетворительно – ширина соответствует предписанной, то есть шести шагам, нет ни разбойников, ни завязанных узлом перепутий, для вселенского патриарха Мануила Сарантина Харитопулоса и византийского императора Феодора Ласкариса настал печальный час прощания с архиепископом сербским Савой. После множества слов, которыми они выразили свою любовь, патриарх и василевс сказали Саве, что готовы одарить его своим благословением, советами, жезлом, одеянием, простагмой на разработку рудников лунного света, а еще, в качестве особой чести, четырьмя мулами под пурпурными выючными седлами. И еще спросили, какими другими дорогами его сердцу дарами навьючить этих мулов. На все это Сава поклонился и ответил:

– Сердцу моему было бы в радость, если прошу не слишком многого, чтобы честнейший патриарх и премудрый царь одарили меня четырьмя никейскими окнами.

– Какой странный гость...

– Какой странный гость...

– Вот ведь какой странный гость... – зашелестело среди придворных, передававших это мнение друг другу в соответствии с «Книгой о церемониале».

Тот, чьей должностью было принимать просьбы, как и предусмотрено правилами, вытаращил глаза и, шагнув к начальнику императорской канцелярии, начал многословно с ним перешептываться.

Начальник императорской канцелярии нерешительно почесал середину темени, из-за обилия всевозможных просьб и требований волосы в этом месте были у него довольно редкими.

Вдвоем они торопливо направились к логофету.

Логофет не был бы логофетом, если бы проявил поспешность и дал выход чувствам раньше, чем сделает это император. Выслушав их с холодным лицом, он послал за хранителем государственных запасов.

Хранитель государственных запасов явился почти бегом, развернул какие-то бумаги и, глядя то в них, то в потолок, принялся, бормоча под нос, что-то подсчитывать.

Патриарх изрядно смутился.

Наконец и василевс решил высказать всю силу своего изумления, ведь это было совершенно бесспорно – такого подарка еще не просил никто и никогда!

– Такого подарка еще не просил никто и никогда! – воскликнул один из придворных, всегда готовый выскочить вперед, первым подтвердить любую мысль владыки.

Но Сава стоял на своем. Если хотят сделать ему приятное, пусть прикажут снять окно, на которое садится ласточка патриарха, два окна, возле которых царицы провожают и ожидают своих государей, и окно, на котором отдыхает двуглавый орел самого василевса. А если хотят, чтобы он покинул их опечаленным, пусть в просьбе откажут.

– Престольная Никея богата окнами. Византия еще богаче. Без четырех видов из окон полнота такого горизонта не оскудеет. Кроме того, византийские окна среди земли рашской на многие годы обеспечили бы дарителю такой авторитет, о каком могут только мечтать в Риме и на всем Западе, – просил их Сава.

И тогда владыки, увидев возможность угодить Саве, не стали ждать другого такого случая (поперхнувшись при упоминании о Святом престоле) и тут же приказали прекратить суету и замешательство и распорядились снять указанные четыре окна.

Первая группа каменотесов отправилась в сад патриаршего дворца и сняла окно, на котором обычно отдыхала его ласточка. Окно размером с утренний щебет ласточкиной радости. Окно, вырезанное из красного мрамора.

Вторая прибыла в палаты императрицы и тихо, чтобы не разбудить ее, сняла те два окна, возле которых провожали в дорогу и ждали возвращения. Оба они были настолько же широки, насколько женщина в полдень боится одиночества, и настолько высоки, насколько женщина в полдень трепещет, ожидая встречи с любимым. Оба были вырезаны из голубого мрамора.

А третья артель мастеров по камню пошла к самой высокой в городе монастырской башне и сняла окно, на котором отдыхал императорский двуглавый орел. Окно такое же, как послеполуденный двукратный клетот, когда орел видит бегущую через поле ласку. Окно, вырезанное из зеленого мрамора.

Когда мулы с пурпурными седлами были нагружены, когда хиландарские братья получили на дорогу караван хлебов и воду, когда вместо военного отряда во главу процессии были поставлены монахи с иконами Христа, Богородицы и святого отца Николая и когда настал час печального расставания, вселенский патриарх и византийский василевс расцеловались с Савой. Многократно пожелав новой встречи, патриарх Мануил дал сербскому архиепископу шкатулку с мощами святого Иоанна Крестителя, в которой находилась частичка его десницы. Разумеется, и император Феодор Ласкарис не захотел отстать от патриарха – подарил Саве перо ангела, которое до этого заботливо хранил в собственной бороде, как в киоте.

Стоял битинийский полдень с высоким солнцем, когда маленький караван торжественно проследовал через главные городские ворота и оставил за спиной хранимую от поражений и увенчанную славой Никею.

Стоял полдень, время дня, когда солнце теменем прикасается к небесному своду. Мария Куртенэ, третья супруга кира Феодора Ласкариса, пробудилась в своих покоях. И со страхом обнаружила, что нет окон, возле которых она сама, а до нее Филиппа, а до нее Анна Анджело, а еще раньше многие другие жены многих других мужей коротали долгие дни своей жизни, провожая и поджидая государей.

VI

Возвращение в землю отеческую, засада на распутье

Возвращение в землю отцов было воистину переполнено изобилием почестей. Как Сава ни старался избежать их, предосторожности ради передвигаясь окольными дорогами, многие люди выходили ему навстречу – поклониться, приложиться к руке, высказать искреннюю радость свою или поздравить с тем, что он увенчал самовластием сестринскую церковь сербскую.

Тем не менее то, что не бывает путей, по которым можно пройти просто так, с легкостью, подтвердило происшествие на одном маловажном на вид перепутье. Дело было так. На этом месте, сказав, что ожидает его здесь с самой Пасхи, в ноги Саве ничком упал человек в широких одеждах, с лицом, скрытым капюшоном и тенью от него. Возвышенными словами прославляя мудрость его преосвященства, незнакомец обвил руками его колени, не давая архиепископу и сопровождающим сделать ни шагу вперед. Прошел весь день, наступила ночь, начало светать, петухам пришлось пропеть уже седьмой раз, а неизвестный упорно продолжал удерживать Саву, не переставая восхвалять его. И до того он хорошо говорил, что будь здесь, на распутье, какой другой человек, вовек бы с места не сдвинулся. Монахи расселись вокруг, восхищенно слушая его речи и не постигая, что их обьяло. И лишь Сава распознал сети засады. Он очнулся, дернул с незнакомца капюшон, и все увидели, что под ним нет никого, совсем никого, что это просто пустая одежда, надутая по человеческому подобию голосом тщеславия. Она в тот же миг упала и клубком свернулась в пыли, распутье исчезло, а дорога стала прямой такой, какой и была с давних пор. И только в ближайшем селе братья узнали, что прошли через место, где пострадали многие, не сумевшие собраться с силами и вырваться из опасных объятий суетности.

А дальше, один за другим, выпрямились и другие пути по суше и по морю, и мягкое весеннее солнце привело путников в окрестности Салоник. Там Сава, как и в своем сне, на некоторое время остановился в Филокале, а потом продолжил путешествие в Жичу. И повсюду его встречали бесчисленными почестями и радостью. И по дороге, и в конце ее, перед воротами монастыря.

Здесь Сава передохнул после долгого пути, и, еще раз восстановив в памяти весь разговор с отцом, решительно перекрестился и вместе с братом своим Стефаном взялся за завершение строительства притвора церкви Святого Спаса. С тем, чтобы разместить в верхнем его этаже катехумению. И там, в своей келье, врезать в стены те самые четыре окна.

VII

Всего, для строительства нужного, будет во множестве

Братья приходили часто, иногда целые дни проводили на строительстве. Причиной такого внимания была и их большая забота о деле, и то, что мастера возводили притвор, взяв за единицу измерения длину стоп Савы и Стефана. При строительстве все размеры должны были быть кратны этим двум меркам. Терпеливой стопе преосвященства соответствовали все измерения в длину. С крепкой стопой великого жупана соизмерялась любая ширина.

Высота притвора определялась самим зданием Спаса. А оно в свое время строилось соразмерно высоте свода небесного над этим Богом хранимым местом.

Пядь за пядью стопы двух ктиторов.
Подвода за подводой песка с Ибара.
Старанье за стараньем главного мастера.
Бревно за бревном высушенных буковых
бревен.
Молитва за тихой молитвой духовника.
Бадья за бадьей молочной извести.
Усилие за усилием плечистых мраморщиков.
Сталактит обтесанный за сталактитом
нетесаным.
Отражение за отражением птиц поднебесных.
Кирпич за глиняным кирпичом.
За лучом нежного утра луч полуденный
и предвечерний.
Колонна за колонной воздвигнутые.
Над колоннами свод за сводом выгнутые.
Знак креста за знаком креста.
Балка за балкой дубовые.
Отзвук за отзвуком голосов множества.
Плитка за плиткой, из свинца отлитые.
Отблеск за отблеском румяного солнца.

Все это, сначала грудями лежавшее во дворе, постепенно находило себе место в здании.

Не прошло еще и половины лета, а до конца всего-то и осталось, что одеть весь храм в пурпурную штукатурку. Не только из-за торжественности этого огненного цвета, но и для того, чтобы во время холодов не промерзла кладка из еще влажных сталактитов, доставленных из окрестных каменоломен.

VIII

Четыре стороны света и четыре главных направления времени

Когда церковь распоясали от лесов, Сава направился в свою новоотстроенную келью посмотреть в окна. Он хорошо помнил обещание, оставленное слепому старику, и внимательно следил за тем, чтобы окна катехумении не оказались одновременно приоткрытыми, а уж тем более распахнутыми настежь.

Через первое окно, то, на котором любила сидеть ласточка вселенского патриарха, Сава увидел все таким, как оно есть. Гнездо ласточки, монастырский двор, сосны, дубы, трапезную, кухню, кельи братьев, странноприимный дом, малую церковь, хлев, кузницу, кладовые, загоны для скота, пруд с рыбой и пасеку. Это было окно нынешнего.

Через второе и третье окна, те самые, возле которых ждали своих мужей византийские императрицы, Сава увидел то, что было, и то, что будет. Через второе смотрел он на события прошлые: как Фридрих Барбаросса троекратно целовал Стефана Неманю и как латиняне захватили и разграбили Константинополь. Через третье окно Сава смотрел на события буду-

щие: как кто-то один из его рода ослепляет своего сына, другой заключает в темницу отца, а над страной его нависает злоеющее облако неверных.

Наконец, через четвертое окно, то самое, на котором отдыхал двуглавый орел византийского императора, Сава тоже мог видеть все таким, как оно есть, но не рядом, а впереди, далеко-далеко. Таким образом он ясно видел, будто стоя собственными ногами прямо там, вдали, что делают подвижники в Вифлееме, сколько кораблей бросило якорь в гавани Дубровника и что находится вечером в тарелке венгерского короля.

— С верхнего этажа притвора церкви Святого Спаса не просто открывается вид на все четыре стороны света, этот вид простирается и по всем четырем главным направлениям времени, — говорил Сава рукоположенному игумену монастыря Жича. — Когда меня нет в покоех, хочу, чтобы ты каждый день наблюдал через одно из окон и, в зависимости от того, что там увидишь, принимал решение на благо братьев и всего нашего рода. Надеюсь, что вы ничего не перепутаете. В противном же случае да поможет нам Бог, ибо пути наши таким узлом завяжутся, что распутать их не сможет и сотое колено, считая отсюда.

И прежде чем отправиться в Студеницу, чтобы, как от него и требовал тот самый сон, в одиночестве подробно размыслить о других делах, боголюбивый Сава дал игумену Жичи на хранение шкатулку с частичкой десницы святого Иоанна Крестителя и перышко ангела, чтобы держал его в бороде как в киоте. По милости Божьей архиепископ сербский Сава оставил игумену и еще одно знание, а именно, что за церковной службой он может наблюдать через пятое окно. Через то окно, которое после достройки притвора открылось из его кельи во внутреннюю часть Спасова дома.

Третий день

I

Игумен Григорий, три мастера, кефалия Величко и большая пыль

По прошествии более семидесяти обильных жатв весеннего лунного света, простагма на разработку которого была выдана монастырю византийским василевсом, то есть по прошествии более семидесяти лет от завершения строительства притвора, преподобный отец Григорий, пятый игумен Жичи, сразу же после утреннего богослужения направился в сторону катехумении, чтобы распахнуть одно из четырех никейских окон. Обязанность, которую Сава вменил управителям Спасова дома, была первым делом, которое они выполняли сразу после литургии. Так же и этим утром, только что соскользнувшим с покрытых росой склонов Столовых гор прямо в Светлый вторник, третий день Пасхи, отец Григорий принялся взбираться по каменным ступеням, которые вели к верхней келье и ко входу в башню над притвором.

Башня – колокольня Жичи – собирала в вышине, а лучше сказать, притягивала множество ветров. Дерзкие воздушные потоки время от времени спускались прямо в церковь Святого Вознесения, нанося видимый ущерб. И несмотря на бережно охраняемую густую поросль заветрии по нижнему краю небес, несмотря на то, что дверь колокольни старались открывать только в случае особой необходимости, а щели тщательно законопатили воском и смолой, вихри, поселившиеся в башне, уже освоились и внизу и превратились в разрушительную и безнадзорную напасть. От их засилия кое-где помутнели фрески, из них через трещины стала уходить живописная сила, со столбиков и обрамлений мраморного иконостаса начали опадать вырезанные в камне листья, глхнуть виноградная лоза, а из растрепанных книг стали бесследно исчезать титлы, потом буквы от аза до ижицы, затем все чаще и чаще целые слова и даже отдельные главы.

Игумен уже четвертую часть года, с самого начала зимы нетерпеливо ждал прибытия греческого изографа, приморского резчика по мрамору и сербского дьякона. Именно настолько во времени опережала их великая молва о том, что они мастерски могут укрепить ослабленное, собрать развеянное и возместить утраченное. Вот почему старец с пером ангела в бороде, хранившимся там, как в серебряном киоте, торопливо поднимался в Савину келью. В тот день была очередь окна, открывавшего нынешнее вдалеке, окна, через которое преподобный надеялся увидеть приближение трех мастеров.

Достигнув этажа притвора, отец Григорий покинул лестницу, которая вела дальше, к дверям на колокольню. Келья Савы представляла собой просторное помещение, разделенное на девять частей четырьмя внутренними колоннами. Пол был из полированного камня, стены и ребристый свод расписаны ликами святых, но черты их исказили прикосновения ветров, залетавших из башни и сюда, и в храм. Кроме одной лампы и раскрытого Четвероевангелия, в котором слова удержались только благодаря богатым переплетениям заглавных букв, в катехумении не было ничего – ни священных сосудов, ни других предметов.

Итак, как и всегда до этого дня, игумен Григорий с радостью подошел к окну из зеленого мрамора, к тому самому, на котором, как говорит предание, во времена основания архиепископата отдыхал двуглавый орел византийского императора и которое было доставлено в Жичу на пурпурном выючном седле из самой Никейской империи. И сам старейшина, и дру-

гие благочестивые священнослужители, и все остальные братья вид из этого окна любили больше всего – именно оно давало им возможность без утомительного и опасного путешествия поговорить с монахами других монастырей, и в Пече, и в Студенице, и в Милешеве, и в Бане и в любом другом месте. Кроме того, отсюда они могли без труда наблюдать за отдаленными частями своего прихода, за собственностью монастыря, рассыпанной до самых берегов Скадарского озера, за всеми пастбищами и зимовьями на восьми горах, составлявших два дарованных церкви Святого Спаса извилистых хребта у самого подножья каменного города Котора... Правда, окно часто показывало и непонятные картины, например, в самом центре города где-то на Западе – механическое устройство, которое питается свежим временем, или нечто совсем противоположное – молчаливого китайского владыку, который в течение целого дня занимается перемещением трех одинаковых песчинок, или же холм, на вершине которого в огне берет свое начало река из растопленного камня, а то еще обитающего в пустыне зверя, такого большого, будто он размером в восемнадцать третей. Тем не менее, в целом то, что они отсюда видели, служило пользе и братства в Жиче, и всего рода сербского.

Распахивая рамы из тисового дерева, отец Григорий подумал, что хорошо бы снова увидеть и архиепископа Иакова. Первосвященник с двумя пресвитерами, несколькими странствующими дьяконами и небольшой вооруженной свитой сразу же после благословенного праздника воскресения Христова по неотложной надобности отправился в Печ. (Отступая перед все более частыми грабительскими набегами с севера, центр архиепископата еще со времен Арсения Первого десятилетиями перемещался с места на место, пока не оказался далеко на юге, в этом достохвальном месте возле церкви Святых Апостолов.) Потом, надеялся отец Григорий, по воле Всевышнего увидит он и то, как изограф, камнерез и дьякон легким шагом спешат к воротам Спасова дома. Однако, к несчастью, вместо этого прямо в Савину келью над притвором ворвалось густое, как туман, облако пыли такой, какая бывает, когда стая дроф раскапывает сухие холмики земли над кротовыми норами.

– Неужели снова восстанавливают стены Маглича? – утомленно пробормотал игумен, который из этого окна часто видел ближайшую к монастырю крепость – город над рекой Ибар, в неполном дне ходьбы для того, кому не мозолит ноги нежелание идти.

Как говорит и само имя города, его стены часто осаждали туманы и мгла. Да и построен он был не только затем, чтобы защищать место коронования и давать путникам и поденщикам прибежище на ночь, но и для того, чтобы было где передохнуть туману. Правда, честно говоря, отдыхать здесь туман даже и не думал. В течение всего года он жадно обгладывал верхушки городских стен, поэтому их приходилось время от времени чинить, заменяя поврежденные блоки из тесаного камня. Для проведения этих работ туман следовало на некоторое время отогнать, и поэтому на стенах выставляли направленные вверх колья с торчащими на них острыми крюками. Изгнанный таким образом туман оставался без насиженного места и в бешенстве клубился по окрестностям, разгневанно обгрызая всякий вид, открывавшийся взгляду любого существа. О таких днях глашатаи оповещали народ заранее, чтобы можно было подготовиться к нападению. Из всех окон тогда во все стороны торчали серпы, копья, косы или просто кинжалы, вынутые из черных ножен. Два отряда стражников до окончания работ задерживали на подходе к городу все караваны, чтобы избежать возможных тяжб. (Как получилось с одним дубровчанином, *capitaneus turmae Damiani Gotius*, который требовал в качестве возмещения девять сотен либров гламского серебра за то, что *bestia* из тумана сделала его калекой *in lo regno di Rassa*, откусив ему шестой палец, незаменимый при торговле тканями, чтобы обмеривать покупателей.) После окончания ремонтных работ колья с крюками убрали, и туман снова мог спуститься и хозяйничать в своем гнезде за каменными стенами.

– Эгей, Величко, прошел ли уж через ущелье Ибара архиепископ наш Иаков? – кричал отец Григорий, хорошо знакомый с правителем города, кефалием Величко как лично, так и посредством окна.

– О-го-го, Величко, не показались ли три мои мастера?

– Побойся Бога, Величко, что вы за пыль подняли, ведь это просто грех, неужели кроме как в Светлый вторник не нашли времени чинить городскую стену?!

– Что ж вы нам не сообщили, что надо будет защититься от тумана, который вы подняли над Магличем?!

Однако, несмотря на обыкновение тут же подавать голос, Величко не откликнулся. Вместо ответа в келью продолжали лететь сор и пыль, борода игумена посерела, голос осип, как будто его горло сжала рука жажды.

– Эй, Величко, опять вы за свое?!

– Разве вы не трепали туман прошлым летом?!

– И сколько же в нем всякой всячины?! Похоже, его никто не вычесывал с тех пор, как он поселился у вас!

– Ты только погляди, опять в дом Господень ваша пыль летит через окно нынешнее, далековидное! – кричал игумен так громко, как только мог, беспрестанно взмахивая руками и отряхивая рясу.

Тем не менее ни кефалия Величко, ни кто другой из города Маглича не отвечал. Если бы не завет Савы отец Григорий наверняка захлопнул бы это окно и открыл другое, которое смотрит в утро более ясного дня. Но делать нечего, приходилось ждать, пока туманная пыль не уляжется и вид из окна не покажет то, что есть.

Надеясь узнать хоть что-то, преподобный смирился. И вот когда его глаза свыклись с болью, причиняемой сотнями соринки, вырисовались – сначала неясные – очертания великого множества людей.

А потом и первые отдельные силуэты.

Затем он смог разглядеть лица. А под конец и характерные черты пришельцев.

II

Во главе колонны

Во главе колонны, которая была видна через далековидное окно нынешнего, ехал верхом многострашный князь видинский Шишман. На голове его была шапка из живой рыси. Пятнистый зверь хрипло рычал. С тех пор, как войско переместилось в Браничево, рысь передошнила не один десяток скудоумных куропаток и простодушных рябчиков. Воротник на плечах и груди Шишмана был из пары жирных золотистых куниц, защищавших княжескую шею. Застежкой пояса из синего бархата была свернувшаяся клубком гадюка, один только Шишман умел разъединить ее зубы и хвост. На вытянутой левой руке, той, что натягивала уздечку, вниз головой, вцепившись когтями в кожаную перчатку, смазанную бараньим жиром, спокойно висел дремлющий цикавац. То ли птица, то ли призрак, создание это всегда выглядело по-разному, поэтому его было трудно описать, но стоило посмотреть на него и глаза начинали гноиться, а кровь в жилах только что не сворачивалась. Правая рука видинского князя, та, что в железной перчатке, отдыхала на янтарной луке седла. Под седлом, украшенным серебром, со стремями в форме медвежьих челюстей, шел вороной конь. Под его копытами раскалывались камни, тут же превращаясь в белую гальку, словно дорога была руслом вод Великого потопа.

Независимо от положения солнца, где бы ни находился Шишман, вокруг него расплывалась бурая, похожая на деготь тень. Окунешь в эту смолу лучину – будет гореть полным мраком на десять стоп вокруг даже в полдень в середине лета.

Рядом с Шишманом, как его левый глаз, на гарцующей белой кобылице, небрежно развалившись в седле, ехал куманский предводитель Алтай, громила с бритой наголо головой, воин, который мог даже казаться красивым, до тех пор, пока улыбка не обнажит его зубы – все как один клыки. Из-за таких зубов любой звук, который он издавал, был резок и страшен, а ласковых слов он не знал вовсе. По дороге для забавы он то скрежетал зубами, и этот скрежет подсекал под корень молодые кусты можжевельника, а то издавал крик, и тогда из крон грабов падали вниз птичьи гнезда.

Тень его была такой, что женщины в ней обливались горячим потом, а самые плодовые могли и забеременеть, соперники же Алтана покрывались ледяными горошинами страха.

С другой стороны, как Шишманов правый глаз, на рыжем коньке скакал слуга Смилец, мелкий, щедушный, на голове его вместо меховой шапки с шелковым верхом была шляпа, украшенная бубенцами. Главной его чертой был злой нрав. Про него говорили, что он коротке с нечистой силой: с лихом, русалками, лешими, ведьмами и оборотнями, которые обучили его всем тайнам сглаза. От полуслова, размером не больше мушиного плевка, брошенного им между делом у входа на рынок, протухала только что выловленная дунайская рыба, в муке заводились черви или мушки, а бодро начавшийся день начинал гнить. В коварстве Смилецу не было равных. Стоило ему в Видине вечером плохо отозваться о человеке, живущем в Трнове, и всем на удивление утро тот человек встречал уже мертвым.

Тень его была кривоногой, затхлой, с неприятным запахом. Защити, святой Пантелеймон! Защитите, святые целители, бессребреники Кузман и Дамиан! Если тень Смилеца падала на беременную женщину, то не помогали даже молитвенные слова, написанные на животе, несчастная тут же заболела горячкой или рожала ребенка с дурным глазом.

III

Вокруг этой троицы

Вокруг этой троицы гарцевало и шагало множество стрелков, латников, легких всадников, знаменосцев, оружейных мастеров и просто вооруженных людей.

Где-то среди них был и механик, сарацин, обвитый бесчисленными складками своего одеяния, страстный любитель сладкого, с пальцами, вечно липкими от рахат-лукума.

Впереди поспешало несколько доносчиков и один человек, который при каждом шаге с силой бил в большой барабан, как ни странно – совершенно немой.

За этой людской массой следовала огромная толпа важных советников, водоносов, поваров, колчанщиков, оружейников, кузнецов, целителей и знахарей, яйцекрадов, сплетников и толкователей любых следов, которые то и дело останавливались, чтобы что-то исследовать и пропустить через решета своих познаний.

За ними, накрытые непрозрачным полотном, соблазнительно колебались носилки с темнокожими возлюбленными куманов. Было слышно, как глубоко они дышат, как устраиваются поудобней среди жарких подушек, как при каждом движении шуршит шелк, струящийся по их бедрам, однако приблизиться к ним в обход заведенных правил и порядков не давало неусыпное внимание голобородых скопцов.

В стороне от дороги, по перелескам и лесным опушкам шныряло несколько сгорбившихся искателей заячьего помета, темных коричневых орешков, которые, после того как их

высушишь, горят слабым пламенем. Чтобы подкармливать свои тени, болгарам и куманам нужны были подходящие светильники.

IV

Два водяных чудовища, звоните в колокола

Такого страха игумен Григорий не испытывал с прошлой осени, когда из одного пруда для разведения рыбы монахи вытащили сеть с двумя водяными чудовищами. До сих пор ему не хотелось вспоминать, как они разевали рты, какими темными и склизкими, глубокими, как преисподняя, были их утробы. Один послушник тогда оступился, да так и исчез навсегда без следа. Братья лишь на седьмой день сумели набить камнями разинутые пасти чудовищ.

Однако ни с чем нельзя было сравнить ту страшную опасность, которая грозила сейчас. Болгарские и куманские орды надвигались прямо на Жичу, и хотя они только что вышли из Браничева, через далековидное окно нынешнего было ясно видно – под монастырскими стенами они будут самое позднее через пять дней.

– Боже, око недремлющее, воззри, – тихо вырвалось у отца Григория.

А затем, короткими судорожными восклицаниями, перемежающимися приступами страха, все громче и громче:

– На нас идут...

– Бейте в била и клепала...

– Бейте в колокола. Боже, спаси и помоги!

– Звоните в колокола!

V

Удар рукой по янтарной луке седла

Как раз тогда, когда раздались призывы игумена, два молодых шпиона бегом приблизились к видинскому князю. Над верхней губой у них едва начало чернеть, а уши были пунцовыми и достигали плеч. Этот поход был для них первым. За поясом у каждого торчал пучок перьев птицы выпи. Ими они время от времени прочищали длинные извилины ушных раковин, чтобы яснее слышать.

Колонна свернулась клубком и остановилась. Вперед вырвалось лишь несколько резких выкриков и грубых ругательств. Когда бубенцы на шляпе слуги Смилеца успокоились, он высокомерно, несмотря на свой неказистый вид, бросил:

– Говорите, лопаухие! Князь слушает вас!

– Государь, похоже, что игумен из Жичи уже зовет на помощь! Мы слышали, хотя и очень издалека, и не понимаем, как он нас мог обнаружить! – заговорили шпионы одновременно, всячески выказывая преданность, низко кланяясь и с трудом уклоняясь с одной стороны от обжигающего пара из ноздрей вороного княжеского коня, с другой – от смолистых капель его тени.

– Может, вам это почудилось? – проскрежетал куманский вождь.

– Или вы действительно слышали? – После этих слов Алтана путь к отступлению для двух доносчиков переломился на два равных никуда.

– Нам кажется, но Жича так далеко, и так много рек до нее шумит и много пшеницы до того места буйно зреет, да и у игумена совсем не самый сильный голос! – оправдывались эти двое, озираясь в поисках того, куда им деться.

– Вам кажется?! Что у меня за шпионы?! Может, вы забыли вычистить перьями пыль из ушей?! А может, вам зрение мешает?! Может, вы будете лучше слышать, если у вас его не будет?! – рассердился многострашный Шишман, хлопнул рукой по янтарной луке седла, и пестрая шапка из живой рыси, укрывавшая его голову, взметнулась в прыжке, нацелившись когтями в глаза несчастных.

VI

Чудо св. императора Константина и св. императрицы Елены, колокола звонят

Когда все войско остановилось, туманная пыль осела, и игумен Григорий из окна нынешнего далековидного ясно увидел, как рысь выцарапывает шпионам глаза. Сопровождаемый рычанием свирепого зверя, смехом куманов и криками жертв, преподобный ринулся к лестнице, ведущей из кельи на башню. Искажённое лицо игумена лучше всяких слов говорило о том, что страх проник ему в самое нутро и теперь бьется там, среди внутренностей. Всего несколько шагов потребовалось отцу Григорию, чтобы достигнуть узкой двери колокольни, потянуть за тяжелую щеколду и, рискуя свалиться вниз или упасть лицом на ступени, начать взбираться по крутой лестнице, борясь с ветром, который, обезумев, стремился полностью завладеть храмом. В часовне колокольни, там, где Сава с миром в душе и молитвой обращался к Господу или советовался со смотревшими на него с фресок Феодором Студитом и Савой Иерусалимским, которым он старался подражать, бешеный порыв ветра чуть было не смахнул легкого, как лепесток, игумена обратно в притвор. Но тут произошло чудо. Отца Григория поддержали четыре разом протянувшиеся к нему руки – святого императора Константина и святой императрицы Елены, тоже изображенных на стене. Предстоятель монастыря Жича крепко ухватился за лестницу, а потом, добравшись до верха башни, вцепился в концы всех трех веревок.

– Братья! Беда! Несчастье! – кричал игумен, звоня разом во все колокола.

В маленький – обращаясь к братьям.

В средний – к правителю Маглича и люду из окрестных сел.

В большой – к Всевышнему, дать знать, что храм Его оказался перед началом конца.

VII

Другим для острастки отправьте-ка их в «ничто»

А далеко от монастыря, сразу по выходе из Браничевской области, два шпиона с обезображенными лицами, с кровавыми ранами вместо глаз видящих, заклинали:

– Смилуйся, господин! Вот сейчас мы ясно слышим! О милости тебя молим, пощади жизни наши, верни шапку себе на голову, усьми рысь! Вот мы слышим, как в Жиче зазвонили колокола. Маленький собирает братьев, средний оповещает об опасности город Маглич, а большой помощи просит у Бога!

Многострашный видинский князь молча хлопнул рукой по янтарной луке седла, рысь замерла, потом прыгнула на голову князя и свернулась там клубком. Сам же Шишман прищипорил своего вороного, заставив его повернуться так, чтобы смола его тени упала на двух шпионов. Потом сухо приказал:

– Другим для острастки отправьте-ка их в «ничто»!

– Нет, господин наш, только не это! Пусть нас разорвут на куски, привязав к четырем кобылицам, пусть изрубят саблями, пусть задушат золотистые куницы! Заклинаем тебя всем, что тебе дорого, господин, смилуйся над нами, несчастными, накажи нас одной только смертью! – рыдая, умоляли шпионы.

Напрасно. Тот, чьей обязанностью в походах были казни, тут же двинулся от воина до воина, поднося к каждому пустой открытый мешок. И каждый, независимо от высоты своего положения, обязан был сдать все, что ему было известно о несчастных. Все. До последнего звука. Включая то, кем были их родители, какого цвета у них глаза, имеются ли родинки, над чем они смеялись на привале в лесу, что и где им снилось, кто в Вицине ждет их возвращения... Наложницы из носилок добавили кое-что об их мужской силе, любовном трепете, даже вздохах. Собрали все. Совсем все. А сверху положили и сами их голые имена. Теперь больше никто не имел права упомянуть о них ни звуком.

После того как палач собрал в мешок все, что можно было сказать об осужденных, он набил туда веток и сухих листьев. Потом искрой подпалил трут и тоже сунул его в мешок. Еще влажное от соприкосновения с губами содержимое мешка сначала голубовато тлело. Казалось, писклявым шипением и потрескиванием оно продолжало беспомощно сопротивляться даже тогда, когда огонь стал разгораться. Наконец все вспыхнуло ярким пламенем, после чего и последнее упоминание о злосчастных превратилось в пригоршню молчания. Это и было оно. Это было «ничто».

– Братьев в монастыре мало, всего-то горстка душ, – презрительно бросил слуга Смилец, и при этих словах бубенцы на полях его шляпы зазвенели.

– Городские стены Маглича слабы, я уже чую, что храбрости у защитников поубавилось, – в очередной раз сверкнул клыками Алтай.

– Ну, а о звоне, зовущем на помощь Бога, позаботишься ты! – тряхнул князь левой рукой, чтобы разбудить цикаваца.

Существо очнулось от дремы (зло никогда не спит, оно может лишь на время задремать), расправило крылья, несколько раз резко взмахнуло ими и лениво взлетело с руки Шишмана.

Видинский владыка выпрямился. Злобно натянул узду. Вороной взвился на дыбы. Раскололся под ним камень. Воздух вспорол клич. Немо забил барабан... И колонна, постепенно разматываясь, продолжила заглатывать путь жадно, как ненасытная змея.

VIII

Летающий призрак

День приближался к сумраку, и, возможно, поэтому монахи среди начавшейся в Жиче суматохи не заметили птицу, похожую на призрак. Паря в вышине над монастырским двором, летающее создание вяло склевывало каждый звук, издаваемый большим колоколом. Поэтому призывы о помощи не могли пробиться вверх и до сада Господнего доносилось лишь мелкое звяканье обычного земного дня.

Четвертый день

I

Ревностный келейник

Смятение, царившее в монастыре, принесло игумену Григорию столько новых обязанностей, что на другое утро он не пошел открывать следующее по порядку окно, а послал вместо себя своего молодого келейника.

— Сначала проверь, хорошо ли закрыты створки у всех окон, а потом открой настежь то окно, что сделано из голубоватого мрамора, то, через которое видно, что с нами будет, — наказывал преподобный. — И еще, сынок, пусть у тебя хватит усердия, приберись в келье, очисти ее от пыли, поднятой этими безбожниками.

В Жиче было хорошо известно, чье слово сколько весит, так что повторять игумену не пришлось, а молодой монах тотчас же отправился выполнять послушание. Как и распорядился отец Григорий, он проверил, хорошо ли закрыты все окна, а потом открыл то, возле которого византийские императрицы ждали возвращения своих государей. То самое, у которого проводили они день за днем, коротая слишком долгое время за распусканием тонких морщин тревоги и запутанных нитей старения, в надежде встретить своих мужей улыбкой.

После этого келейник принялся старательно подметать пол. Метлой из березовых прутьев он начал сметать пыль, листья, выкрики, веточки, мелкие камешки, ржание коней, пух птицы выпы, смех, вонь смолистой тени, молчание барабана, сор, принесенный туманом, какое-то «ничто», одним словом, все то, что, поднятое огромным войском куманов и болгар, залетело вчера в некогда Савину келью через окно нынешнее далековидное. И так ревностно занялся монах своим делом, что позабыл даже глянуть в открытое окно. Правда, очень может быть, что он и не сумел бы всего понять, разум часто отстает от зрения — окно обрамляло картины, зачатые этой зимой и развеянные вдаль от ставней из тисового дерева на целых семь столетий.

II

Что бывает, если притчи и стихи утопить в холодной воде

Крепость Прибила пользовалась дурной славой и у сербов, и у дубровчан, и у влахов. Все в равной степени старались обойти стороной пристанище этого жестокого и своевольного вельможи и только в безвыходном положении решались переночевать в его укрепленном замке на высоком берегу пенистого Лима. Архивы дворцовых скрипториев в Скопье были переполнены жалобами на бесчинства Прибила. Король терпеливо направлял ему увещевания и предупреждения, призывая к порядку, но тот, уверенный в безнаказанности, не обращал на них внимания. Более того, с течением времени он все более укреплялся в своей заносчивости и считал, что с ним никто не может сравниться, а если какой-нибудь самонадеянно и попытается, то и подпрыгнув, не сможет даже дотянуться до предмета его мужской гордости.

Счастливецом можно было считать того, кто, оказавшись поблизости от его замка, оставался просто без товара, кошелька, коня, лисьей шубы, пояса, сапог или штанов. Большинство же путников попадало в настоящую беду. К тем, кто останавливался на ночлег в его замке возле Лима, Прибил прокрадывался в сон и там искусно преграждал рукава, по которым текут сновидения, путал дорожные указатели, потихоньку оттеснял несчастных на дороги, заканчивающиеся тупиком или полной утратой всякого понимания, и все это для того, чтобы нещадно измотать их, а еще лучше изгнать вовсе. Эти несчастные больше никогда не могли заснуть. Короткий отрезок оставшейся жизни они проводили, бессмысленно и бесцельно плутая по яви, неизлечимо больные бессонницей, против которой были бессильны даже пиявки, хоть десятками прикладывая их в надежде уменьшить страдания. А если пострадавший ко всему прочему был еще и наивен, то заклинал Прибила вернуть хотя бы одну-единственную детскую порцию сна.

Случилось так, что ни эпирский изограф Димитрий, ни приморский резчик мрамора Петар, ни сербский дьяк Макарий не знали о разбое, чинимом Прибиллом. И вот три мастера, оказавшись на поздней зимней дороге, ведущей к Жиче, попросили пристанища у ворот замка над Лимом. Хозяин встретил путников улыбкой, развел огонь, приказал слугам вымыть им ноги, смазать гусиным жиром обмороженные места, вычесать из волос снег с ветром и принести чистые полотенца и сухую одежду. Потом принялся угощать их белым хлебом, горячими овощами с олениной, болтливым вином, которое он постоянно подливал в кубки, и подробнейшими расспросами, преподносимыми как обычное любопытство, — о них самих, о том, что они умеют и какова цель их путешествия.

— Неужто вы просто так, безо всякой охраны ходите?! — спросил Прибил, изучая взглядом лица незнакомцев.

— Вы что, не знаете, что в здешних лесах грабителей больше, чем желудей под ногами?! — продолжал вельможа, прикидывая в уме, на какую добычу можно рассчитывать в этот раз.

— Тут недавно попался бедняга, у которого взять было нечего, так он немым сделался — не только речь, но и свист изо рта украли! — сказал он и спохватился, что надо бы быть поосторожнее.

— Все, что у нас есть, на нас видишь, — легковерно начал эпирский изограф Димитрий.

— Мы не носим с собой ничего, что может привлечь жадных до чужого добра, — продолжил приморский резчик мрамора Петар.

— Все ценное, что у нас есть, спрятано в наших снах, — неосмотрительно обронил дьяк Макарий.

— Неплохая шутка! — Прибил постарался сохранить хладнокровие.

— Вот бы узнать что-нибудь об этом! — продолжал он, жмурясь, чтобы гости не заметили, как веселит его богатая и легкая добыча.

Совладав со своей разбойничьей радостью, он встал и поднял кубок с болтливым вином:

— Братья мои дорогие, желаю вам от всего сердца спокойного и крепкого сна!

Вот так, за обильными расспросами, прошел ужин. Постепенно треск сосновых веток в очаге стал заглушать разговор. Разгорелись и буковые поленья. Пришло время отправляться на покой. После молитвы, уставшие от долгой ходьбы, гости заснули, стоило им оказаться в постелях, на тюфяках, набитых мягкой, опьяняюще пахнущей высушенной травой, собранной в самых укромных уголках леса.

Убедившись в том, что мастера основательно забрались в свои сны, Прибил осторожно отправился вслед, заматавая следы сухой еловой веткой, замутняя воду на речных бродах грязной метлой из прутьев шиповника и неправильно обозначая наступления рассветов и сумерек уханьем филинов и криками соек, которых полно было в его переметных сумках. В тот

час, когда уснувшие попали каждый в свой рукав сна, в которых они видели большие нарисованные глаза, белые мраморные порталы, иконостасы, колонны, притчи и складно сложенные стихи, Прибил неожиданно возник перед своими гостями и, вытащив из ножен меч, ринулся на них, чтобы изрубить тут же, на месте, посреди снов. Тут только три мастера поняли, у кого они заночевали. Но раскаиваться было поздно. Повернулись они и бросились бежать через леса и ущелья, через овраги и поля, и только чудо могло вырвать их из лап Прибила.

Через некоторое время, остановившись и вытерев с глаз ветер, спящие увидели, что заблудились. Нигде не находили они следов своих ног, ни в одной реке не было брода, отовсюду слышались леденящее кровь уханье филинов и приглушенные крики соек, все пути скрывал полный ужаса мрак, а плотные стаи птиц-тьмиц с шумным трепыханием зачерняли свод снов. И куда бы мастера ни пошли, все превращалось в бессмысленное блуждание.

– Ох! – возопили все трое в один голос, догадавшись, что именно они оставили Прибила. – Несчастные мы, несчастные! Никогда не видать нам Жичи! Да и что нам там делать без красок, чертежей и звуков! Несчастные мы, несчастные! Неужели нам проснуться и навсегда остаться без наших снов! Или блуждать здесь, в неизвестной пустоте, до тех пор, пока не исчезнем! Горе нам! Что же делать?!

Пока они причитали, Прибил полным ходом перетаскивал в подвалы своего замка содержание снов трех мастеров. Это были такие сокровища, на которые он даже и не рассчитывал. Правда, большая часть добычи относилась к церковным сооружениям и работам, но и ее можно было выгодно продать или в Приморье, или латинянам. Необыкновенную щедрость проявили покупатели из одного западного монастыря – триста тут же зазвеневших золотых монет были хорошей ценой за портал из сна резчика по мрамору. Хотя портал был всего лишь увиден во сне, везли его оттуда до берега беспокойного Лима на санях, запряженных тремя десятками настоящих волов.

Под конец остались только притчи и стихи дьяка, то есть то, что можно было обратить лишь в пару жалких медных монет. Чтобы они не занимали места, Прибил побросал их в воду вслед за телами навсегда уснувших мастеров.

Над местом, где в холодной воде были утоплены Димитрий, Петар, Макарий и притчи и стихи, время от времени выплывало какое-нибудь не сдававшееся слово, вздымались волны, расцветали клубы теплого пара, а потом все успокаивалось – исчезало.

III

Как мертвый германец отнял разум у дерзкого вельможи Прибила, и отчего великоименный король испытывал постоянную похоть даже в преклонные годы жизни

В конце того же месяца, когда даже самые поздние метели уползают в свои берлоги, когда сквозь облака изливается первое тепло, а трудолюбивые перелетные птицы раскатывают подогнутые края неба, всемогущий вельможа Прибил в засаде подстерегал и наконец подстерег свой рок. Напав на караван, который перевозил из Вероны для королевского двора в Скопье драгоценные ткани, он дерзко похитил с парчи, бархата и атласа вышитых на них двуглавых орлов вместе с их гнездами из королевских лилий. Король Милутин, государь сербских и поморских земель, отличался особой чувствительностью в вопросах своего облачения. И от такой наглости вскипело все его естество, терпению пришел конец. Оскорбленный, великоименный властитель решил отомстить со всей возможной жестокостью. На

реку Лим был тайно отправлен один мертвый германец, который годами верно служил на благо сербскому королевству. Покойник представился Прибилу купцом, сообщил ему по секрету, что тайно, во сне, переправляет из Византии в Мантую огромное имение – десятки тысяч сажен плодородной земли, засаженной несколькими сотнями молодых тутовых деревьев с тысячами коконов шелковичного червя. Вельможа польстился на такое богатство, забыл об осторожности, не заметил, что гость не ест, не пьет, и, как только германец начал что-то пришепывать во сне, принялся его обирать. Из сна покойника Прибил вернулся с растоптанным разумом, и любое дальнейшее наказание было уже излишним.

Не одна неделя потребовалась на то, чтобы перенести в королевские ризницы в Скопье все награбленное и запрятанное Прибиллом в тайники его замка над Лимом. Рассказывают, что одних только виденных во сне кирпичей было столько, что король Милутин позже построил себе из них летний дворец. А к тому же по двору этих палат свободно разгуливала, тоже бог знает кому приснившаяся и похищенная Прибиллом, десятикрылая райская птица. Каждое лето король лично выбирал для своего головного убора лучшие перья из ее хвоста.

Кроме всего прочего, среди похищенного Прибиллом оказалось много плотских желаний, ибо дерзкий вельможа часто прокрадывался в юношеские сны. Именно с тех пор у короля Милутина появился избыток мужской силы. Потому-то он даже в преклонные годы испытывал постоянную похоть.

IV

Где-то между Будимлей и Дабром

Где-то между Будимлей и Дабром русло намного расширяется, и здесь Лим отдыхает. Река здесь течет медленно, от волны до волны проходит по несколько дней, весь берег, совсем ручной, порос постаревшей тишиной, а над поверхностью мелкой воды склоняется ее тень. И, вероятно, привлекаемые таким многолетним покоем, стаи рыб собираются здесь на нерест.

Лишь изредка, и притом со всей возможной осторожностью, приходят сюда по необычному делу монахи из монастыря Бане – они набирают здесь для своих келий немного опавшей тишины. Приходят молча и молча уходят, стараясь не потревожить нежные растения.

Благодаря причудливости течения как раз на этом месте застряли и разрозненные части притч дьяка Макария. Они белели на дне, под прозрачно-зеленой водой, или медленно двигались, если в Лим ныряла спица солнечного колеса.

Любопытные мальки поначалу испуганно плавали вокруг непонятных предметов кругами, но прошло немного времени, и рыбы уже стаями проплывали сквозь колеблющееся повествование. Речные струи мягко перемещали разнородное содержание, удаленные друг от друга слова сливались, создавали что-то целостное, медленно соединялись в совершенно новые истории.

А совсем недалеко, вниз по течению, по-прежнему ревел Лим, словно переполненный желчью, весь в злобной пене, перекачивая камни, вырывая с корнем деревья, и с небольшой высоты могло показаться, что это извивается по земле огромная ехидна.

V

***Беременность, тянувшаяся двадцать семь месяцев
или на день-два дня меньше, где потом нашли пуповину***

Несколькими годами раньше, а если смотреть сквозь сны, то как раз незадолго до того, как попали в беду три мастера, византийская императрица оказалась в нелегком положении. Каждая из ночных прогулок приближала ее к исполнению желания. Дело было в том, что прекрасная армянка не хотела иметь детей от своего супруга, кира Феодора Ласкариса. Нельзя сказать, что ее тело не желало мужа. Как раз напротив, оно отдавалось ему само, с жадностью предлагая себя, и разум молодой женщины несколько раз едва справлялся с настоящей лавиной собственной похоти. Нельзя было сказать и того, что Филиппа настолько любила самое себя, что решила отказаться быть матерью. Наоборот, материнские чувства росли в ней с каждым днем. Но именно из-за этих будущих детей императрица и не хотела зачать от императора. Филиппа знала, что параллельно хронике византийских династий столетиями тянулась история насильственных женитьб и замужеств, отцеубийств и братоубийств, в этой истории ослепляли и калечили, заточали в такие тюрьмы, где уже после сороковой ночи разум навсегда оставлял узника... Филиппа не хотела рожать детей, которые были бы осуждены жить в такой бесчеловечной истории. Не исключено, что кто-то из ее детей мог бы унаследовать императорский венец, хотя у василевса и была дочь Ирина от его первого брака с Анной Анджело. Однако другие дети еще до зачатия были обречены на гибель. Филиппа отвергала зачатие для смерти, предательства, боли...

С другой стороны, поскольку ее тело обуревали страсти, а желание стать матерью становилось все более мучительным, императрица с каждым своим новым сном приближалась к исполнению намерения отдаться кому-нибудь другому, чтобы продолжить род с ним. И вот однажды все именно так и случилось. Но то, что имеет один вид, когда ты спишь, выглядит совсем иначе после пробуждения. Плод любви, зачатый во сне, наяву рос и превращался в плод прелюбодеяния. Поэтому, скрывая беременность от своего властелина, василевса Феодора Ласкариса, и всегда окружавших ее многочисленных доносчиков, Филиппа оказалась вынуждена оставить ее за рамками яви и жить с ней лишь во сне. Когда она пробуждалась в своей спальне, где пол был выложен плитам из оникса мягкого желтого цвета, стены обиты пурпурной тканью, а потолок сделан из кипрского кедра, она была императрицей, безукоризненной во всех отношениях, с слегка выдающимся вперед подбородком, сдержанными движениями и безмятежным взглядом. Но стоило ей заснуть, как ее начинало мучить неутолимое желание грызть орехи, лесные и грецкие, капустные кочерыжки, самые обычные дикие яблоки, а более всего одолевала тяга к соленым огурцам, на щеках у нее появлялись пятна, ноги начинали отекают, рос живот, грудь становилась все более твердой, а материнская любовь превращала ее всего лишь в обычную женщину, тревожащуюся за судьбу своего еще не рожденного ребенка.

Свой плод Филиппа вынашивала более двух лет. Сроки, определенные природой, не в силах сократить никто. Постольку поскольку во сне она проводила обычно около третьей части суток, то и время беременности выросло в три раза – растянулось почти на целых двадцать семь месяцев, может, на день-два меньше. Как и любая будущая мать, Филиппа зря времени не теряла – украдкой смачивала губы водой, которой обмывали икону преподобной мученицы Евдокии, чернилами из смолы еловых шишек и ягод черники писала на своем животе слова молитв, сепией изображала знаки крестов, развязывала все узлы, где

бы они ей ни попались, и до самого захода солнца вязала и связывала друг с другом крохотные мысли о том, как защитить дитя и как сохранить себя для ребенка. Император Феодор Ласкарис милость выказывал лишь в исключительных случаях, благость же – никогда. В случае, если бы тайна открылась, Филиппу, скорее всего, ждало изгнание в какую-нибудь мрачную византийскую глушь. Несмотря на завоевания латинян, великая империя все еще оставалась огромной, и на ее далеких окраинах все еще встречались страшные места, до которых почти никогда не долетало свежее дыхание столицы, туда ссылали политических противников, изменников, прелюбодеев и их ублюдков, чтобы они подыхали там на не прекращавшихся ни днем, ни ночью принудительных работах, вдыхая ядовитые серные пары.

И вот, ввиду того, что незаметно родить она могла только во сне, императрица решила подыскать кого-нибудь, кто мог бы смотреть за ребенком, хотя бы на первых порах, пока не выявится какой-нибудь способ переместить его поближе к себе, куда-нибудь в явь престольной Никеи. Пространства сна были хорошо известны Филиппе, поэтому поиски подходящей особы закончились в срок. Выход состоял в том, чтобы, когда настанет время, о новорожденном заботилась некая женщина, которой судьба не подарила собственного ребенка. Если дела пойдут плохо, если все покатится в пропасть, Филиппа надеялась, что приемная мать спасет ребенка, ведь она находилась очень далеко – жила на целых семь столетий позже, в стране маленькой, едва заметной, сжатой чужими пространствами и с восточной, и с западной сторон света. Доносчики в те края забредать не решались, но говорили, что именно там притаились в засаде последние времена.

Но судьба – это колесо. Никогда наверняка не знаешь, пойдет ли оно по борозде или по целине, застрянет ли в грязи или будет катить по сухой земле. Несмотря на то, что все было рассчитано, включая мелочи размером с крошку, той ночью, когда Филиппа даже наяву почувствовала первые схватки, император Феодор Ласкарис никак не хотел расстаться с ней и отпустить ее в спальню. Поэтому императрица заснула слишком поздно, и поэтому во сне началась бешеная скачка в погоне за убежавшей вдаль дорогой. Белый конь, несший в седле женщину с огромным животом, которая вот-вот могла родить, стремительно мчался по пространству снов, преодолевая за краткий миг лет по десять. И все же решающие боли настигли Филиппу в конце того же столетия посреди большого пространства, общего для всех рукавов отдельных снов. Почувствовав, что откладывать дальше было бы просто опасно для ребенка, она остановила коня, с трудом слезла с него и родила. Родила вдалеке от приемной матери, под уханье филинов, крики соек и трепыхание крыльев птиц-тьмиц. Стояла необыкновенно темная ночь, луна застряла в узкой щели между двумя пепельно-серыми тучами.

Троим несчастным мастерам сначала почудился плач ребенка. В неизвестности их повсюду подстерегал обман, они блуждали уже несколько дней, изнуренные бесчисленными признаками, которые повисали на их плечах, взгромождались им на спины.

Плач, однако, повторился. Мастера потрясли головами, чтобы освободить уши от мелких привидений – размером не больше мошек, но таких вредоносных, что могли полностью лишить способности к здравому рассуждению.

А детский плач зазвучал снова. И несмотря на то, что страх вился у них вокруг ног, изограф, мраморщик и дьяк послушались своего слуха, и долго им искать не пришлось. На земле среди травы они увидели женщину с окровавленными ногами, а возле нее белого коня, который ржанием разгонял трепыхавшихся вокруг птиц-тьмиц и языком снимал слизистый послед с крупного мальчика.

– Зачем я не послушалась монаха из сна, зачем не послушалась... – шептала в бреду охваченная слабостью мать, настолько бледная, что, казалось, она в любой момент могла испустить дух.

Мастера окружили ее, поколебавшись немного, принялись собирать с ее лба, живота, рук и ног судорогу за судорогой, но она остановила их словами, произнесенными из последних сил:

– Не тратьте зря время. Мой сон истекает. Ребенку помогите. Заклинаю вас, заберите его, спасите отсюда. Белый конь отведет вас, он знает путь моих намерений.

Императрицу Филиппу родом из Малой Армении слуги нашли мертвой в ее постели, в собственной спальне, в престольной Никее. Медикусы не смогли определить причину смерти. Несмотря на то, что все указывало на большую потерю крови, нигде не обнаружили ни малейшего ее следа. Единственное, что удалось распознать, был кусочек засохшей пуповины, намертво зажатый между жемчужными зубами прекрасной жены правителя.

В семи веках вдаль от жаркого спора никейских целителей три мастера нашли женщину, которая в своем сне уже поджидала рядом с приготовленной колыбелью. Приемная мать не рассчитывала на такое сопровождение, но у нее было доброе сердце, и она предложила пришедшим остановиться у нее на некоторое время, чтобы отдохнуть.

Белый конь тоже остался в новом сне и, взвившись на дыбы, стряхнул с гривы несколько запутавшихся в ней сверкающих лучей битинийской луны.

VI

Будь осторожен!

Для того чтобы наяву никто ничего не заподозрил, мальчик месяцы и годы рос только во сне или совсем рядом со сном приемной матери. Она старалась спать как можно больше, видя во сне, как склоняется над ним, как кормит и поит его, как начиная с пушка над верхней губой и дальше вниз по груди и ножкам оттирает с него болезни, как поддерживает его, когда он делает первые неловкие шаги. К счастью, там, где она находилась, она жила одна, так что свидетелей ее материнской одержимости не было.

Когда мать должна была быть наяву, за ребенком смотрели три приемных отца, правда, они заботились о нем довольно неуклюже, как и все мужчины. Мастера не забыли своих умений и знаний. Более того, в сне мальчика они снова начали созидать – замешали известковый раствор, в центр поставили белый камень и вокруг него принялись с трудолюбием рисовать, обрабатывать камень и писать. Вместе с ними с самого раннего возраста Богдан взбирался по лесам из серебряных лучей, наблюдал за тем, как смешивают краски, учился вязать кисти и придавать им нужную форму, высвобождать из камня вокруг оконных проемов единорогов, ангелов и волшебниц, постигать, какие слова пишут пером соловья, какими свойствами обладают буквы, написанные пером дикой гусыни, и что представляют собой те, что выведены пером кречета.

Бывало так, что они собирались все вместе за трапезой возле возводимого здания и на равные части делили одну-единственную огромную улыбку, такую, что все вокруг взрывалось радостью.

Правда, иногда приемная мать рассказывала о том, что происходило наяву, она чувствовала, что хоть как-то обязана подготовить Богдана к тому дню, когда ему придется отправиться и туда. Слушая эти истории, мастера крестились, качали головами и не вполне верили, что мир действительно дошел до того, о чем она говорила.

– А правы ли мы? Растить его, чтобы потом вот так взять и бросить?! – подумал однажды дьяк Макарий, глядя на мальчика, который, ничего не подозревая, скакал на неоседланном белом коне, прижавшись к нему всем телом.

Ответа никто не знал, и мастера, чтобы не погрузиться в печаль, поспешили заняться своим делом – чтобы ребенку, после того как он побывает в яви, было куда вернуться, где отдохнуть.

Сон за сном проходили дни. Накануне семи лет Богдан, сжимая руку приемной матери, в первый раз перешел Великую границу. Позже, все еще сонный, он хорошо помнил, как три приемных отца махали ему откуда-то с самого края, как они еще долго кричали ему:

- Не забывай нас!
- Надо достроить то, что начали! Приходи к нам как можно чаще!
- Будь осторожен!

VII

Каким пером какое слово писать

Богдан считался хорошим учеником. Но у него был необычный образ мыслей, такой, который учитель оценил (и интонацией подчеркнул двойной чертой) как еретический!!

Как-то раз мальчик привел класс в настоящее смятение, когда посреди урока встал и заявил, что слова, написанные ручкой или мелом, стоят не дороже обычных каракулей.

– То есть как?! – побледнел учитель.

– Очень просто. Для каждого слова есть свое перо. Например, слово «небо» пишут легким касанием летного пера взрослого ястреба, а «трава» – пером с брюшка скворца, «море» – пером альбатроса, некоторые книги написаны пером болтливого гага, а чтобы описать ваш черный костюм, нужно писать с сильным нажимом пером из хвоста крупной галки.

– Выйди вон! – покраснел учитель, а класс взорвался от смеха.

– На этом месте хорошо было бы воспользоваться пером, которым без всяких оснований кичится одна разновидность тетеревов, – добавил Богдан уже на пороге.

– Больше такое не повторится, – обещала позже мать мрачному учителю.

– Я надеюсь. – Он выглядел обиженным.

– Простите его, простите, – повторяла она, но ее не покидало необъяснимое предчувствие, что знания, обретенные во сне, не исчезают.

Однако самое удивительное произошло в конце учебного года. Стоял ясный апрельский день, солнце палило жарко, как горящий дубовый пень, когда Богдан нарушил ход урока просьбой закрыть в классе окна.

– Вот-вот начнется ураган, – объяснил он.

– Опять ты за свои шутки, на небе ни облачка! – поднялся из-за стола учитель, собираясь вплотную заняться ушами мальчика.

– Это вопрос не обычного видения неба, а оценки размаха, длины траектории и правильного расчета сплетения четырех главных времен... – продолжал Богдан, а весь класс просто валялся от смеха.

– Хватит! Я и слушать не хочу твои глупости! – презрительно воскликнул учитель, подошел к открытому окну и победоносно распахнул его. – Где же твоя буря?! Ну, пусть наш умник объяснит всем нам, где эта буря?

И вдруг солнце перестало сиять, оно тлело, словно кто-то залил его ночной водой. Из погасшего пня поползли струйки дыма. Дым застлал большую часть неба. Заморосили первые капли пепельного цвета, как будто откуда-то закапал щелок. Серое облако, состоявшее из смешанной с туманом пыли, выкриков, листьев, ржания коней, мелких камешков, беззвучных ударов в немой барабан, разного сора, липких от смолистой тени веточек и еще всякой всячины, обрушилось через открытое окно прямо на остолбеневшего учителя.

VIII

Отряхнул друг о друга ладони

Молодой монах, которого отец Григорий послал прибраться в Савиной келье, оглянулся вокруг. В помещении никого не было. Келейник быстро наклонился, подобрал подметенное и выбросил в открытое окно, которое показывало будущее. Пыль, сор, листья, веточки, какое-то «ничто», все, что принес с собой поход многочисленного болгарского и куманского войска, обрушилось на семь веков спустя, на чью-то уверенность, что знания конечны, а времена разделены четкими границами.

Молодой монах, довольный тем, что закончил работу, отряхнул друг о друга ладони и отправился из верхней части притвора вниз.

Пятый день

I

Вдоль дороги сожгли пасмы смятения, не время ли жатвы пришло, не последние ли времена наступили

В то утро пришел черед окна, которое смотрит на нынешнее изблизи. Игумен Григорий распахнул настежь окно красного мрамора, то, на котором когда-то давно отдыхала ласточка вселенского патриарха. Свежий свет заполнил Савину катехумению, залил каменный пол, обвился вокруг колонн, растопил тени, смыл мельчайшие частички мрака. Дивно воссияли изображенные на стенах умиротворенные лица. Посреди кельи, подобно цветку, раскрылось и зашелестело страницами святое Четвероевангелие. Теплое утро превращалось в день. Отец Григорий перекрестился:

– Создатель, благодарю Тебя, что Ты не изменил место рождения утренней зари!

Затем ободренный преподобный направился к зданию трапезной, где еще на рассвете собрались братья, чтобы договориться, что надлежит делать после явленной ужасающей картины из Браничева. Дверь была открыта для каждого, кто приходил по делу, связанному с обороной от неприятеля.

Первое смятение, которое путает шаги и мысли, монахи смотали в пасмы и подожгли вдоль дороги. Там поднималось большое пламя, плясали языки, воронкой завивался пепел, вились струи серого дыма...

Не время ли жатвы пришло, когда от зерна отделяют плевелы и сжигают в огне?

Не последние ли времена наступили, когда обольщенных и тех, что беззакония чинят, наконец отделяют от праведников?

II

Цвета, Тихосава, Молена!

– Цвета, Тихосава, Малена! – созывал пчел отец Паисий.

– Грозда, Радована и ты, Любуша! – Каждую из своей сокровищницы он знал по имени.

– Давай-ка, Дружана, Лейка и Миляна! Косара, Озрица и Мрджица! Самка, Ковилька и Горьяна! Давай, Десача, Ивка и Буйка. – Память у медовника и восковника из Жичи была широка, как цветущий луг.

– Лети, лети, Добра, Мара и Раткула! Летите, мои золотые! – заглядывал он между стеблями, под покрытые росой листья и в душистые цветки.

– Елица, Крилатица, Борика! Прячьтесь от куманов, красавицы! – Паисий осторожно тряс во дворе крону каждого дерева.

– Крунослава, Велика, Анджуша! – вступил отец в храм Святого Спаса.

– Берислава, Богужива, Благиня! – направился он по ступеням притвора к Савиной катехумении.

– Икония, Спасения, Богдаша! Скорее! Скорее в улы, добродетельницы! – Напоследок отец Паисий собрал и тех пчел, которые кружили вокруг раскрытого святого Четвероевангелия.

III

Меха с искрами и мешочек тмина

За пределами двора, там, где были хозяйственные постройки и мастерские, кузнец Радак, мирянин, который мягкий характер скрывал за огромными строгими усами, голыми руками собирал под мехом искры. Под галереей уже стояло несколько раздувшихся мехов, полных потрескивающих искр. Жар пригодится, если осаждающие Жичу повредят пурпурную штукатурку Спасова дома, чтобы в стенах не промерз все еще влажный сталактит.

По распоряжению эконома смотритель подвалов изгонял из них мышей и других грызунов, составлял вместе с несколькими братьями перепись пищевых припасов – тут были морская и каменная соль, уклеи и другая вяленая рыба из Скадарского озера, связки лука и чеснока, нанизанные на нитку сухие сливы и смоквы, мешки с мукой – пшеничной и смеси из пшеничной и ржаной, сотня пудов молодого и тридцать пудов старого копченого мяса, маслины и оливки, засоленная икра, масло, ячмень, просо, овес и пустое сорго, горы бобов и чечевицы, мешочек тмина, по ведру хрена и сладких стручков акации, в двух углах кучи орехов, еще в одном – прошлогодние каштаны, связанные снопами сухие плети черной и красной фасоли, семян разных много стаканов, немножко благородного шафрана, девять горошин перца, десяток кувшинов меда, вино и яблоки в ящиках, набитых соломой, а где же бочонок вина, не хватает бочонка легкого монастырского вина...

IV

Хлебы, стихи и краски

В помещении, которое называют кухней, пекари в полной тишине, как того и требует Правило Святого Пахомия, пекли хлеб. Когда готовят капусту, похлебку из корня дурнишника или какую другую еду, говорить можно, даже самый невинный разговор, любое слово, прошедшее между двумя губами, всегда кстати, как хорошая приправа. Но в замешанном тесте не должно оказаться ни одного слова. И уж тем более сказанного просто так. Только на таком хлебе могла стоять монастырская печать.

Под строгим ухом еkkлeсиарха певчие собирали разбросанные тропари и кондаки и вкладывали их между страницами книг. В нише северного клироса икос! Под куполом кружит почти половина октиоха! Вон, на южном клиросе целая Азбучная молитва Константина Пресвитера! В вощеную бумагу сначала заверните! Грех будет, если что-нибудь пропадет! Осторожно, осторожно со стихами!

Иконописцы закрывали свои речные ракушки с красками, бережно складывали их в тайник, вместе с кистями и углем для рисования из древесины мирта. Чтобы краски не засохли, каждую ракушку отдельно оборачивали только что собранными речными травами. Цветов здесь было на целую радугу – белила, ярь-медянка, индиго, охра, камедь, арсеник, лазурь, киноварь, празелень, сиена, бакан и кармин.

V

Реликвии, растения и другие приготовления

Там, где хранится великая тайна, ризничий Каллисфен собирал священные сосуды, книги и те реликвии, которые в предшествующие годы не увезли в Печ, опасаясь возможного нападения. Во-первых, частицу Христова креста, затем часть одеяния и пояса Богородицы, потом маленький киот с частицей головы святого Иоанна Крестителя, а после всего этого мощи апостолов, пророков и мучеников... К счастью, десница Предтечи, подаренная еще Саве в Никее, находилась не в Жиче, а в надежном месте – гораздо южнее, в новом центре архиепископии.

Травник Иоаникий трав не жалел. На дорогу, под ноги болгарам и куманам – пижму, белену и крапиву, перед воротами монастыря – молодильник, в трещины стен вокруг монастырского двора – валериану, в замочные скважины – вербейник. Всем братьям под мышки – траву против страха, на очаг – ромашку, а в колодец – первые весенние листья первоцвета.

В окрестных деревнях народ разделился на тех, что собирались искать убежища в лесу, тех, которые хотели сберечь свои головы в монастыре, и тех, кто решил остаться дома, надеясь, что можно избежать беды, если надевать одежду наизуоборот, переворачивать вещи вверх ногами или просто жмуриться. К тому же, за стенами монастыря все еще оставалось много душ, пришедших сюда на праздник Воскресения. Говорили, странноприимный дом только в дни великих соборов и коронований бывал так полон. К несчастью, среди них оказались и больные, и слабые, те, кто надеялся, что Господь лучше расслышит их молитвы, если они направят их Ему именно из церкви Святого Вознесения.

Двоих гонцов послали оповестить ближайшие скиты, а еще один помчался по дороге к Магличу, подробно описать кефалии Величко и его гарнизону, какая грядет напасть.

VI

Кошелек, в котором точно пять серебряников (хотя их было ровно тридцать), разговор об этом

– Отец Данило! – перехватил казначея Жичи на дорожке, ведущей к монастырской трапезной, купец из Скадара, который остановился в странноприимном доме на пути с севера в Приморье. – Почему такая спешка?! Что происходит?! Отчего эта суматоха?! Правда ли, что окно рассказало о приближающемся нашествии болгар и куманов?!

Господарь Андрия, торговавший свинцом, сумаховым деревом и перинами, а главным образом временем (именно так он представился, когда попросился переночевать ночь-другую), был человеком неопределенного возраста, при том что и все остальное у него было довольно ненадежно. Где бы он ни оказался, он менял и язык, и веру – в соответствии с местными обычаями, чтобы преуспеть в своих делах. Вряд ли он и сам помнил, сколько раз был крещен, сколько раз переходил на западную или восточную сторону, а еще глубже забыл, какой из этих сторон принадлежали его корни. Одно было точно – родом он был не из Скадара, там его знали как Андрию из Пераста, в Перасте как Андрию из Призрена, в Призрене думали, что он из Стона, и так далее, по всем путям-дорогам. Лицо его состояло из целого букета запоминающихся черт, но даже сам большеглазый Ананий, составитель книг

духовных песен, не мог повторить характерных отличий этого лица. Наряжался он странно, был всегда разодет в тяжелое сукно, рукавов у него было по крайней мере в три раза больше, чем рук, а о бесчисленных пуговицах даже не стоит говорить. В то же время на шее носил маленькую высушенную тыковку, как какой-нибудь убогий. Походка его была тяжелой, ногу, обутую в сапог с воткнутым в него вороновым пером, он подволакивал, не расставался с длинной палкой, на которую опирался, и, как это ни странно, даже на мокрой земле не оставлял за собой никаких следов. Поговорить он любил обо всем, повсюду суя свой нос, в храм же заходил редко и, похоже, всегда засыпал во время богослужения. Не жалел слов, хвалясь ценностью своего товара, но, несмотря на это, при нем никогда не было вооруженных слуг, и его всегда сопровождал и прислуживал ему один горбун, надо сказать, весьма умелый и ловкий, который всегда был какой-то другой веры – прямо не угадаешь! Товар, который этот торговец перевозил на мулах, составляли свежие стекловидные недели из окрестностей Пскова и Новгорода. Он рассчитывал, что когда летом, во время самой сильной жары, доставит их на Сицилию, то сможет за каждую из них получить по два жарких месяца. Потом, зимой, он продаст эти жаркие месяцы богатым боярам из Московского княжества. Один такой месяц стоит там столько же, сколько целое время года. С помощью этого предприятия господарь Андрия надеялся лично для себя сэкономить самое большее за пять лет не менее двадцати годов. В любом случае, если и не обеспечит он себе вечной жизни, то уж можно не сомневаться, что его ждет спокойная старость – отсюда и еще на два-три столетия вперед. Он был рад, что и здесь сумел заработать впрок немного спокойных монастырских дней. Или хотя бы немного тихих зорь. А чтобы дать понять, что человек он щедрый, скадарец сразу пожертвовал Спасову дому пять крупных серебряников. Однако, когда казначей Жичи стал прятать деньги в шкатулку, оказалось, что их ни много ни мало – ровно тридцать.

– На все Божья воля, но монастырь и вправду ждут большие несчастья, – ответил Данило и вдруг, задумавшись, остановился. – Вы ведь говорили, что в кошельке, который вы пожертвовали, было пять серебряников?

– Кажется, да, – подтвердил гость. – А что вы мне советуете делать, остаться или уехать?

– Только Бог знает, – ответил казначей и продолжал, не давая ему отделаться парой слов: – Когда я сосчитал, их в сумме оказалось ровно тридцать. Согласитесь, разница немалая?

– Тем лучше, значит, я хороший купец, раз мои деньги преумножаются, даже лежа в кошельке, – кашлянув, усмехнулся скадарец. – А защитники монастыря в состоянии противостать нападению?

– В крепости Маглича сильный гарнизон во главе с кефалием Величко, – ответил отец Данило. – Но поскольку я считаю, что число тридцать несчастливое, особенно когда оно связано с серебряниками, я тут же уменьшил пожертвование и дал милостыню нищему – один серебряник.

– Ну-ну, вы хорошо поступили, милосердию учит нас Господь, – опять усмехнулся перастец.

– Тем не менее, когда я снова пересчитал их, в шкатулке опять было тридцать монет. Я тогда бросил две монеты в колодец, но их по-прежнему оставалось ровно тридцать. За монастырское имущество я отвечаю уже довольно давно, однако ничего подобного припомнить не могу!

– Серебряник, который можно потратить всего один раз, стоит не дороже медяка! И настоящий золотой, если не возвращается обратно, просто фальшивый. Поверьте мне, отец, ведь я по всему свету торгую, и уже много лет.

– Уж не знаю, но по мне тут дело нечисто, – подозрительно покачал головой казначей.

– Не тревожьтесь, и прошу прощения, я и так задержал вас! – поклонился торговец и повернулся вокруг своей палки.

VII

Здесь мы затем, чтобы подумать, как беду встретить

В то же самое время в монастырской трапезной братья начали разговор. Придя туда, отец Данило увидел, что за скудной трапезой слов собрались почти все, но говорят мало, а если кто и скажет какое слово, то главным образом те, что годами старше и помнят прежние нашествия.

– Войско у болгар и куманов немалое, – отвечал игумен Григорий на один из вопросов. – Не просто их тьма, а тьма-тьмущая.

– Может ли слабый куст спастись от взбесившегося паводка? – чуть слышно шептал духовник короля Тимофей.

Он был встревожен вдвойне, не только из-за Жичи, но и из-за великоименитого господина Милутина. Неохотно отправился он в Спасов дом, неохотно оставил владыку одного на милость сторуким страстям. Знал он, что прельстительные желания с особой силой одолевают любого правителя. К тому же, звучание праздничного канона святого Иоанна Дамаскина было слишком хрупким для столь далекого пути, до Скопье бы все растряслось, но без него возвращаться назад не хотелось, хотя, с другой стороны, не хотелось, и чтобы какая-нибудь осада слишком надолго задержала его вдали от главного дела – печься о состоянии духа короля Милутина... От тяжких мыслей Тимофея заставили отвлечься восклицания братьев:

– Велики грехи наши!

– Прости нам грехи, Всевышний!

– Не оправдываем себя! Накажи нас!

– Для храма одного избавления просим!

– Просим Тебя, Господи, Христос и Богородица, не попустите, чтоб в ничто превратили церкви, реликвии, иконы, святые книги и пчел в Жиче, что опыляют и оплодотворяют слово сербское!

Большой вопль готов был вырваться из многих грудей, одни уже начали хватать себя за волосы, у других из глаз полились слезы, страдание и печаль многим замкнули уста, мрачное горе обвило каждое сердце, надежда разбилась на мелкие осколки безнадежности. Трапезный стол опустел, если не считать лежавшего на нем молчания. Немногие умные слова разлились по полу малодушием самого худшего толка.

– Молитве всегда есть место... – послышался вдруг голос из угла трапезной.

Все разом обернулись и увидели самого старшего среди них, отца Спиридона, того, что еще с самым благороднейшим Стефаном Неманей разговаривал, того, что был бережен к словам и не крошил их понемногу повсюду, подобно некоторым. Молодые послушники были уверены в том, что губы его срослись. Уже очень давно никто не видел, чтобы он ел, а те, кто еще такое помнили, свидетельствовали, что только по самым большим праздникам он баловал свой живот сухой корочкой грубого хлеба из отрубей. Среди братьев все еще повторяли тот вопрос, который лет десять назад задал ныне блаженно почивший архиепископ Евстатий: «Авва Спиридон, давно уже пытаюсь понять, чем вы живы, ведь даже воду не пьете, только иногда по весне, да по осени под дождь попадаете?!» И говорили, что монах пристально посмотрел на архиепископа, а потом сказал: «Жив я беседой с Богом».

– Молитве есть место всегда, – тихо повторил отец Спиридон, в трапезной все вдруг успокоилось, слышна стала где-то поблизости молитва, которую читал три дня назад чтец. – Но мы здесь затем, чтобы подумать, как беду встретить. Дубы паводка не боятся. Мы не ратники, чтобы мечами поразить противника. Мы не жрецы, чтобы заклинаниями повернуть течение взбесившегося потока. От воплей пользы мало. Поэтому поступим, как монахи Ватопеда перед нападением пиратов. Не находя другого спасения, они в течение ночи силой молитвы и усилием воли отделили церковь от земли и вместе с ней перенесли на вершину отвесной горы. Почему же и нам не поступить так же? Вымолим у Всевышнего, чтоб Он даровал этому цветку нашего отечества стебель такой высоты, что он вознесет нас за пределы досягаемости страшных захватчиков.

И хотя до этих его слов мало кто имел что сказать, все вдруг заговорили, перебивая друг друга. В общем гуле голосов можно было разобрать:

– Как? Как?

– У церкви нет крыльев!

– И они у нее не вырастут!

– Кельи построены не из пуха одуванчиков!

– Если даже мы сосны и срубим, то научить их махать крыльями не сможем!

– Разве что пчел можем послать против куманов, за гору!

– Но в целом все, что ты сказал, Спиридон, бессмысленно!

Отец Спиридон, однако, не имел больше намерения подниматься на многословные высоты суетности. Монах даже ни на кого не смотрел. Возможно, он, такой старый, почти ровесник Стефана Немани, просто задремал. А возможно, он, как истолковывали позже, побыв мертвым, пока говорил, вернулся в свою тихую жизнь, текущую в разговоре с дорогим Господом.

VIII

Возле окна летали птицы и пчелиные рои, порхали шестикрылые серафимы

Вот так, унося с собой и то, что было сказано, и то, чем закончилось их обсуждение, братья покинули трапезную. Все это тут же стало общим достоянием, воцарилось великое удивление, многим предложение отца Спиридона показалось просто неразумным, однако никто не предложил более весомой надежды. Лучше синица в руке, чем журавль в небе. Игумен Григорий наказал поступить по примеру братьев из Ватопеда. Все монахи и селяне, дьяконы и миряне, послушники и пастухи, певчие и давитьщики, весь стар и мал разделились надвое. Первые принялись взывать к Богу, чтобы Он даровал монастырю Жича, цветку земли Рашки, стебель достаточной высоты. Другие, похватав все, что можно держать в руках, начали подкапывать основания обоих храмов, келий и хозяйственных построек, корни деревьев и трав, снизу и вокруг.

Звуки голосов поднялись высоко, стук ударов разнесся широко, и все это распространилось и вверх, и в стороны от монастыря. Случайный прохожий подумал бы, что трясется земля. Глухие удары заглушили все остальные звуки. От сильных сотрясений оборвался черенок на верхушке солнца. Оно, как пожелтевшее яблоко, скатилось в сторону – прямо в разгар полудня. Внутри церкви пророки выпустили из рук свитки. Треснул один из нарисованных кувшинов. Брызнула живописанная вода. Зароились огоньки дрожащих свечей. А три раскачивающихся колокола забыли, что они из бронзы, и хотели улететь с колокольной.

Странноприимный дом дал знать о себе скрипом. В кухне беспокойно забрякала медная посуда. В хлевах заревела скотина. Пчелы, теснившиеся в ульях, стремились покинуть их. Эхо заплеснуло горы, оттеснив все зверье на самый край леса, и еще более громогласным вернулось назад к защитникам храма. Засмеркались первые сумерки. Затенились первые тени. Послали эконома привезти на мулах с вершин ближайших холмов хоть немного света. Но вопреки всем усилиям, кроме пыли, ничто в Жиче не показывало доброй воли подняться хотя бы на полпяди.

И несмотря на то, что был пятый день после Воскресения, один из пятидесяти дней, когда до самой Троицы не преклоняют колен, сам игумен Григорий в храме упал на колени, и все вслед за ним сделали то же.

И так как просили они у Господа великого милосердия, было наказано дьяконам читать, а протопсалтам петь как можно больше псалмов.

И певчие с обоих клиросов наполнили весь храм пением.

И прошения сугубой ектеньи начали они мольбой к Богу услышать совместное моление – за благо всех, за избавление и даже за подступающих насильников.

И каждое из прошений завершалось троекратным ответом хора:

– Господи помилуй! Господи помилуй! Господи помилуй!

Снаружи все больше становилось тех, кто, отирая пот, откладывал свои орудия, но не затем, чтобы отказаться от работы, а чтобы заменить ее пением и молитвой. Голоса множества людей, один за другим, присоединялись к нарастающим звукам, доносившимся из Спаса дома.

За пределами двора больные и слабые собрались с силами. Один, от рождения ущербный, с отнявшимися членами, воздел дрожащие руки. Другой, слепой, прозрел, предчувствуя, что увидит чудо. Третий, со связанным немотой языком, пропел вместе со всеми:

– Го-спо-ди-по-ми-луй!

И тут, когда уже казалось, что вот-вот ночь своей тьмой еще больше придавит все к земле, когда напрасным казалось и меньшее, чем начатое дело, что-то скрипнуло в алтарной части церкви, и ровно на величину этого еле слышного звука храм отделился от земли. Возгласы взвились к небу еще громче, а пение псалма разлилось вширь:

– Господь, Господь крепкий, Спаситель мой, защити главу мою во дни ратные!

– Не дай, Господи, безбожнику того, что он возжелал, не дай ему учинить то, что задумал, да не возгордится он!

Церковь начала покачиваться влево и вправо, будто для того, чтобы отряхнуться от своей тени. Некий убогий, Блашко, Божий человек, который еще с праздника находился в монастыре, ухватился за один ее край и принялся тащить, сильно, хотя сил у него было как у слабого ребенка.

– Помогайте! – выкрикнул он.

Изумившись в первый момент, несколько человек, стоявших рядом, тут же пришли ему на помощь. Послышался скрип в подножье церкви, словно ее тень расставалась с основанием. В расщелины между этой тенью и Стасовым домом протиснулись пение и молитва – и все здание поднялось на расстояние одного общего возгласа. Внутри него игумен вместе с монахами продолжали еще усерднее читать ектеньи. Нарушенная в одном месте тень затрещала по шву вокруг всей церкви. Расстояние, сначала небольшое, постепенно набухало от единодушно произносимых и поющих слов. Храм затрясся. Дрогнул. Нерешительно застыл. Певчие возвысили голоса. Что-то треснуло. Потом звякнуло. С тупым ударом на землю брякнулся громадный обруч земного притяжения. Церковь Святого Спаса оторвалась от земли и поднялась вверх.

И тут началось. За Стасовым домом в движение пришли и трапезная, и здание, в котором готовили пищу, и странноприимный дом, и хозяйственные постройки, и части невысо-

кой монастырской стены с пристроенными к ней кельями. Сосны и дубы словно какой-то силой вырвало из земли, и они устремились вверх вместе с гнездами, шишками и большими комьями земли. Малая церковь Святых Феодора, Стратилата и Тирона, во много раз более легкая, чем большая, поднялась так высоко, что ее пришлось привязать к главному храму веревкой. А он, слишком тяжелый для такого полета, остался парить всего в сотне саженей над колодцем, упорно неподвижным, с жалобно утонувшей в нем охапкой первоцвета.

Перед самым заходом солнца Жича спокойно покачивалась в воздухе, будто она, как всегда пурпурная, с самого начала так и была построена – над землей.

– Велика милость Божия! Слава Господу! – Внизу бурлили возгласы, и во дворе и за оградой народ пал перед чудом на колени.

Правда, некоторые не могли во все это поверить и стали покидать достохвальное место:

– Вот безумие! Такое чудо будет нам стоить вдвое больше жизней, чем если бы мы остались внизу!

– Что там такого наверху, чего нам здесь не хватало?! Облака, ветры да птицы бессмысленно перелетают туда-сюда!

– Пойдем-ка, братцы, отсюда, переночуем лучше где-нибудь в стороне!

После молитвы отпуста те, кто был наверху, спустили вниз многочисленные лестницы, веревки с узлами... Люди начали по очереди взбираться в храм, в странноприимный дом, в кельи, в мастерские и в хлев. Пока еще не стемнело, игумен поспешил обойти все, что оказалось в воздухе, перескакивая с комка земли на комок и стараясь не упасть вниз, он протягивал руку то какому-нибудь ребенку, то больному, чтобы поддержать их. Потом отец Григорий направился в Савину катехумению над притвором. Там он еще раз осмотрел монастырские владения. Мраморное окно вдыхало в себя новый, гораздо более обширный вид. Возле него, обращенного к нынешнему вблизи, летали птицы и рои пчел, порхали шестикрылые серафимы.

– Свят, свят, свят Господь над воинствами, вся земля полна славы Его! – восклицали они, обращаясь друг к другу.

На своде небесном листьями распустились Алкиона и Мериоп, Келено и Электра, Стевропа и Тайгета, а под конец и Майя. С первым светом все семь звезд Плеяд поднялись над Жичей. Серафимы удалились в сторону звезд. Дневные птицы отыскивали свои гнезда. А пчелиные рои повисли на веревке, которая удерживала малую церковь поблизости от большого храма.

Преподобный рукой отвел в сторону лунный луч и на закате пятого дня медленно закрыл ставни из тисового дерева.

Книга вторая Херувимы

Шестой день

Бдение, неудачное падение, сломанная рука и тревожный шелест крыльев

Хотя церковь Святого Спаса и раньше никогда не оскудевала верными, но после того, как она поднялась над землей, игумен Григорий ввел непрерывное бдение. Наос и даже притвор постоянно были заполнены монахами и народом, который искал прибежища здесь, в Божьем доме. Там, в молитвах прославления, благодарения и прошения, не смыкая глаз, длилось непрерывное стояние. Молящихся укрепляли чтения и пение псалмов. И сам игумен заменил малые поклоны, боясь, что они недостаточны, великими, а время от времени зывал к милосердию Господа, пав на колени.

Церковь в воздухе слегка покачивалась наподобие детской люльки. Трещины на штукатурке понемногу исцелялись, пламя свечей горело ровно, под куполом роился свет, с фрески на стене Пантократор поднятой десницей благословлял собравшихся. В мгновения полной тишины сверху слышался слаженный шелест перьев большеглазых херувимов, окружавших изображенного на своде Вседержителя.

К преподобному в Савину катехумению то и дело кто-нибудь приходил с новыми и новыми известиями. Один сообщил, что комья земли, поднявшиеся вместе с деревьями, удалось распределить так, что по ним можно ходить – как с камня на камень, когда переходишь ручей, от храма к трапезной, от трапезной до келий, от келий к странноприимному дому, и так по всему монастырю. Часть лишних комьев, не нужных для передвижения, собрали и разложили под стоящим в стороне большим дубом, так что образовалась небольшая плавающая в воздухе площадка, поросшая травой поляна посреди небес, где могли пастись кони, овцы и другая скотина. Второй принес цифры – общее число укрывшихся в Жиче монахов и мирян, сколько среди них мужских голов, сколько женщин и сколько старых да малых. Третий пришел спросить совета, что делать с малодушием, которое кое у кого обнаружилось за пазухой. Может быть, пропарить, как это обычно делают, чтобы освободиться от вшей?

Все же, ввиду того что это был тот день, когда открывали церковное окно, игумен Григорий больше всего радел о самой церкви. Вид молящихся от всего сердца верных ободрял его в размышлениях. В конце концов, надеялся он, может, гарнизона Маглича хватит, чтобы преградить путь тысячеголовому чудовищу, которое из Видина через Браничево уже приближается к Жиче.

И тут, как раз под Савиной кельей, наполненной упованиями игумена, в притвор тихо вошел Андрия Скадарац, торговец временем, сумаховым деревом, свинцом и перинами. Перекрестился он одним из пустых рукавов, тем, которым пользовался только в храмах восточных стран. (Но если говорить правду, то и остальные рукава у него были пустыми, кроме тех двух, которыми он принимал деньги.) Пробираясь среди верных, со склоненными головами погруженных в молитву, он почти крадучись приблизился к тому месту, где фреска на стене изображала лестницу, спасающую души и ведущую на небеса. Живописная сцена показывала с усилием взбирающихся по ней и старых, и молодых монахов. Один из них, великодостойный, со смиренным выражением лица, находился на самой верхней

ступени. Многие другие поднимались. А некоторые, начиная восхождение, делали первые шаги. Вокруг лестницы летали скалящиеся дьяволы, дергая монахов за рясы и пытаясь низвергнуть их в ад. И несмотря на то что большинство держалось крепко и непоколебимо, некоторых от падения во мрак искушений спасала только одна рука.

Итак, пробравшись между молящимися, господарь Андрия приблизился к этой фреске и поднял палку. Никто не увидел, как он, резко замахнувшись, со всей силой ударил ею по руке одного из изображенных монахов, как раз того, который, одной только ею схватившись за перекладину, с трудом удерживался на лестнице. За торжественным пением никто не услышал удара палкой по нарисованной руке. Только по всей церкви внезапно разнесся крик ужаса, такой, как бывает, когда кто-то падает со страшной высоты.

Отец Григорий вздрогнул и поспешил вниз. Там, впереди, возле южного клироса, как в водовороте, кружились монахи и верные. На каменном полу среди рассыпанных ключей от сундуков и шкатулок лежал казначей Данило. И раньше бывало такое, что во время долгих бдений кто-нибудь терял силы, а нередко и сознание. Травник Иоаникий достал из своего пояса стебель чернокорня, травы против любого падения, и потер им под носом лежащего. Тот пришел в себя, даже смог пошевелить головой, плечами и одной рукой. Но вторая его рука по-прежнему лежала на полу как мертвая. Судя по этому и по страданию, выражавшемуся на его лице, было ясно, что казначей упал неудачно и тяжестью своего тела сломал локоть и кисть руки. И пока несчастного выносили из церкви, а народ возвращался к молитве, игумену Григорию казалось, что наверху, под куполом, перья на крыльях херувимов шелестят как-то тревожно.

Седьмой день

I

В конце месяца сентября, непосредственно перед позорным событием, пел знаменитый трувер Канон де Бетюн первые октавы своей известной «Песни крестоносцев»

О Амур, разлука так трудна,
Мысль моя всегда лишь к ней стремится,
Госпожа всех прелестей полна!
Ей служу, она мне ночью снится,
Дай мне, Боже, с ней соединиться!
Разлука? Нет! Я вечно вместе с ней:
Охотно тело за Христа идет в сражение,
Но сердце с той, что сердцу всех милей.

Чтоб отдать Творцу свой долг сполна,
Ухожу в поход, скрывая боль.
Срам тому, чья вера не сильна,
Бог не станет грех прощать такой.
Так вперед, и знать, и люд простой,
Все в Сирию, где льется кровь рекой.
Дорога в рай. Путь доблести и чести.
В конце пути – свиданье с госпожой.

Боже, как мы были нерадивы,
Но теперь проявим наше рвенье,
Смоем грех с себя мы нечестивый,
Что во всяком будит отвращенье.
Поруганье требует отмщенья.
Всех, кто посмел святыню оскорблять,
Мы смерти предадим без сожаленья,
И будет подвиг сей жизнь нашу озарять.
Тот, кто доблести избрал дорогу,
Смерть благую радостно встречает,
Если жизнь свою дает он Богу,
Царствие на небе получает,
Смерть его спасение венчает!
Воскреснет он средь райского сада,
А если живой домой возвратится,
Любимая будет ему наградой.

С честью и священники, и старцы

Вслед за рыцарями в путь пускались.
Даже дамы, не стесняясь странствий,
Здесь с мужьями рядом оказались,
Верностью своею украшались.
Но если даму страсть обуревает,
В ничтожество ее низринуть надо,
Ведь этот путь лишь добродетель принимает.
(...)

II

Длинношеие церкви и ширококрылые палаццо, окруженные множеством невыносимых лягушек

Было самое начало октября 1202 года, время, когда в венецианские каналы ныряет ранняя осень, и многочисленные подмастерья, рассыпавшись по берегам, тщательно собирают в мелкую посуду верхний слой воды. Умельцы-мастера с острова Мурано, не мешкая, в течение этого же месяца, пользуясь особыми приемами высушивания, устраняют из собранной воды множество отражений обыденного и в конце концов получают стекло удивительной и чистой красоты.

Было как раз то время, которое местные жители считают самым благоприятным для ведения переговоров любого рода, особенно же для заключения торговых сделок и военных и брачных договоров.

Точнее, это было то время года, когда партнеров венецианцев ослепляет блеск волн, а сама Венеция ошеломляет – любому приезжему она кажется огромной стаей длинношеих церквей и ширококрылых палаццо, которые только что спустились посреди лагуны света, чтобы, шумно перекликаясь, отдохнуть.

Был именно тот день, когда маркграф Бонифацио Монферратский и граф Балдуин Фландрский, предводители крестового похода, плыли мимо острова Джудека прямо к устью канала Гранде, немного бледные от качки и еще более бледные от волнения перед важной встречей с Энрико Дандоло, дожем Республики Св. Марка.

За весну и лето этого 1202 года в окрестностях города скопилось огромное войско крестоносцев. Венецианцы, однако, затягивали выполнение достигнутой ранее договоренности и все время откладывали переброску военных отрядов к берегам Египта. Обещанная за аренду галер сумма в восемьдесят пять тысяч серебряных кельнских марок была выплачена не полностью, и у дожа была уважительная причина, чтобы не позволить крестоносцам подняться на суда, даже несмотря на упорное давление римской курии и самого папы Иннокентия III, вдохновителя и страстного приверженца этой Священной войны.

– Со всем нашим почтением, но мы, тем не менее, не имеем возможности исполнить Божью волю! – Таким был краткий и надменный ответ Святому престолу.

– Мы согласны, что речь идет о деле, имеющем важнейшее значение для всех христиан, но следует понимать, что галеры не могут отплыть, пока полностью не выплачены деньги за провоз! В прошлом году из-за долгов мы потеряли почти тридцать судов, и всего лишь три отправили на дно пираты и бури! Чем нам зарабатывать, если останемся без флота? In terra rex summus est hoc tempore nummus! Мы всего лишь бедный город, который зависит от переменчивой удачи на морских путях! Природа не дала нам даже настоящего моря, Адриатика

не больше обычного залива! – так в следующий раз многословно объяснял очередной отказ дож, а у Иннокентия III теперь начинался приступ мигрени, как только ему докладывали о прибытии изворотливых венецианских послов.

Как бы то ни было, крестоносцам все равно не хватало тридцати четырех тысяч кельнских марок, и два времени года они провели в бесцельном ожидании, коротая время в пьянстве и не останавливаясь перед тем, чтобы за вино заложить не только какое-нибудь снаряжение, но иногда даже и свое рыцарское достоинство. Ни маркграф Бонифацио, ни граф Балдуин самого дожа никогда не видели, переговоры шли только через его представителей. Правда, и дож не мог бы увидеть предводителей Четвертого крестового похода, потому что уже долгое время был слеп. Его зрение в меньшей степени изгрызла старость, а в большей заморозь – болезнь, от которой у него оледенел взгляд обоих глаз.

Итак, ранняя осень отражалась в воде канала, было то время, которое венецианцы охотнее всего выбирают для ведения переговоров, а войско крестоносцев с каждым днем становилось все распущенное, и лучше бы было поскорее избавиться от его присутствия в окрестностях города. Надменные аристократы Республики уже давно открыто протестовали, не упуская случая как можно громче заявить о своем негодовании по поводу того, что их прекрасную лагуну окружило множество невыносимых лягушек. В сентябре столкновения между местными жителями и пришельцами участились, а две стычки с рыцарями-вассалами графа Луи де Блуа закончились кровавыми поединками.

В конце того же месяца еще одно неприятное событие подтвердило, что терпению венецианцев приходит конец – заносчивые служанки до дна опорожнили на голову известного трувера Канона де Бетюна полный ночной сосуд. Позорнее всего, что дело было как раз во время исполнения стихов шестой октавы его известной «Песни крестоносцев»:

Окружает мерзость гроб Господень,
Мести нашей страшной пробил час.
Бог нас спас от власти преисподен,
На кресте Он смерть принял за нас.
Может тот бездействовать сейчас,
Кто бессилен, беден или хвор.
Если ж молод ты, богат, здоров,
В бой иди, иль ждет тебя позор!

– Расквакался! Ora basta! – Поток мочи сопровождался соответствующими оскорбительными восклицаниями.

В конце концов дож оценил обстановку как вполне созревшую. Он отправил за двумя военачальниками пышное посольство, сообщившее, что, вот, здоровье только сейчас позволяет ему принять их, что он чрезвычайно рад своим доблестным гостям, что он хотел бы с ними договориться и что он тоже, конечно, желал бы, чтобы Святая земля наконец была освобождена от безбожников.

Было самое начало октября, маркграф Бонифацио и граф Балдуин становились тем бледнее, чем дальше лодка продвигалась по каналу Гранде. Весла разбивали раннюю осень, потихоньку отталкивая расстояние от Риалто, места встречи дожа и двух предводителей крестоносцев. Длинношеие церкви тихо переговаривались с ширококрылыми палаццо. Извилисты каналы Республики. Гости ничего не подозревали, но с приближением к Риалто Святая земля от них бесповоротно удалялась.

III

Самый ловкий сват Республики Св. Марка

К востоку от побледневших гостей, если плыть всего лишь в сотне волн справа от канала Гранде, удивительные действия рябили гладь воды у левого берега узкого рукава. Некий мастер Инчириано Квинтавалло охотился за отражением в воде молодой знатной женщины, окруженной звуками лютни и запахом имбиря. В отличие от большинства обычных стекольщиков, которые из зрелой весны изготавливали окулусы, из прозрачного неба – бутылки и бусы, отражающие летнюю жару, магистр Инчириано занимался таким делом, которое требовало особой деликатности – он считался самым ловким сватом в Венеции, потому что из отражений девушек делал особые бокалы, против действия которых не могло устоять даже сердце закоренелого холостяка. Красивую, длинношеюю госпожу, задумчиво сидевшую у канала, звали Анна, имя ее отца было Ринийер, и кроме того, она была самой младшей внучкой старого венецианского дожа Энрико Дандоло.

Извилисты пути Республики. Недавно Анна Дандоло вошла в тот возраст, когда начинают задумываться о замужестве. Точнее, в возраст, когда другие начали задумываться о ее замужестве, причем раскрой интересов государства и семьи едва ли давал девушке возможность высказать собственное желание. Бокал, сделанный из ее отражения на воде, должен был получить в подарок избранник Энрико Дандоло. Брак – это удобный случай слить воедино пользу Венеции и мощь семьи. Жена как галера, в каком порту пришвартована, тот, считай, наполовину захвачен, – ходила по Адриатике морская поговорка.

– Не будьте такой печальной! Улыбнитесь, госпожа! Да слушаете ли вы музыку?! *Con grazia*. Прислушайтесь к лютне! *Con grazia!* – прыгал по берегу канала мастер Инчириано, захватывая горстями отражения, проливая их обратно, недовольный, с мокрыми до локтей рукавами.

– Ах, госпожа, не так кисло!

– Ваш уважаемый дедушка не заказывал мне посуду для уксуса!

– Он требует бокал для наслаждения!

– Ему нужен бокал, который опьянит жениха!

Анна Дандоло молчала, время от времени обмахивая лицо, чтобы защититься от роя слов этого навязчивого ремесленника, теперь уже совершенно мокрого от страха, что дож останется недоволен результатом его работы.

– Теплее, улыбнитесь теплее, госпожа! – заклинал ее магистр Квинтавалло.

– Жарко улыбнитесь!

– Пусть бокал обожжет губы будущего молодожена!

– Что бы ни выпил он из него, пусть все равно всегда жаждет вас!

Напрасно! Отражений звука лютни и запаха имбиря было достаточно для края бокала, в мелком сосуде стекольщика переливались краски ранней осени, ровно столько, сколько нужно для ножки, но главного не хватало – в воде канала никак не отражалась улыбка Анны Дандоло, а ведь уже перевалило за полдень.

Сказать, что мастер Инчириано впал в отчаяние, было бы мало. Просто проклятие какое-то (в мыслях магистр выразился гораздо менее пристойно), после стольких успешно сговоренных браков, теперь, когда получен такой важный заказ – от самого дожа! – сват, известный своей ловкостью на всю Республику, столкнулся с тем, что эта соплячка дуется и никак не хочет улыбаться.

Разумеется, Анна была не первой невестой, которая упиралась. Бывало такое и раньше. Девушке на выданье трудно удержаться от капризов. Да и в целом, по крайней мере, насколько это известно, женская природа соткана из непредсказуемости. Поэтому магистру Инчириано оставалось только одно – использовать хитрость, как раз для таких случаев хранившуюся у него в особом кармане. А так как сам он был совсем некрасив, с жалким лицом, приправленным двумя-тремя бородавками, то потихоньку, чтобы девушка не заметила, вылил из особого пузырька в волны канала отражение обнаженной фигуры венецианского щеголя по имени Доминикин. Этот юноша со стройной фигурой, кудрявыми волосами, одаренный недвусмысленной готовностью и невероятно самовлюбленный, отражался вдоль, а за мелкую золотую монету – и поперек всей Венеции. И хотя многие дамы негодовали по поводу этого плавающего обольщения, ни одна из них не удержалась, чтобы не бросить хотя бы мимолетный взгляд рядом с обнаженным Доминикином. Сначала стыдливо, нерешительно и осторожно рассматривали пах, потом их глаза сконфуженно пробирались через спутанные волосы, осмотрительно охватывали взглядом мошонку и, наконец, основательно оценивали размер самого признака мужественности! Так что в целом порядочность дам подвергалась серьезнейшему испытанию. (Это подтвердилось, когда один страшно ревнивый торговец утопился, увидев, как неподалеку от старых доков, забыв обо всем, в безумных объятьях, среди бурлящих пузырьков воздуха, страстно отдавались и овладевали друг другом бесстыдно плавающие в воде отражения его молодой женушки и этого красавца.)

В общем, не выдержала и Анна Дандоло. Утратила осторожность. Попалась, как на крючок, на соблазнительное отражение юноши. Глаза ее очаровательно блеснули. Дыхание стало неровным. Платье плотно облегло вздымающуюся грудь. Сердце забило сильнее. Дрожь пробежала по всему ее телу и в виде румянца вынырнула на запылавших щеках.

– Вот оно, то, что нужно! Benissimo! – давился словами магистр Инчириано, рискуя утонуть в канале, но удерживая в высоко поднятых руках немного воды, а в воде искрящуюся улыбку юной красавицы, только что расставшуюся с гладким отражением Доминикиновых бедер.

– Ах, какой это будет бокал! Что бы он из него ни выпил, молодожена опьянит желание!

Слишком гордая для того, чтобы просить разрешения, Анна Дандоло встала. Запах имбиря окончательно рассеялся, лютня замолчала. Из затененной арки появилась незаметная до сих пор свита. Стекольщик и сват Инчириано Квинтавалло кое-как выкарабкался из канала, цепляясь за все, что попадало под руку, даже за презрительные взгляды.

– Rettile! Ruffiano! – оскорбительно бросил кто-то, и поверхность воды в рукаве канала успокоилась, совершенно разгладилась.

Ко дну грустно шли девичьи желания. Молодая дама медленно удалялась вдоль берега, одетая в соответствии с раскроем интересов Республики.

IV

Три обычных глаза, две маслины, очищенные от кожицы, и один клятвенный взгляд

– Их величества маркграф Бонифацио Монферратский и граф Балдуин Фландрский!

Когда дверь открылась и рыцари, едва живые, вступили в покои дожа, их встретил крупный старец со сложенными поверх живота пегими руками, облаченный в горностаевые меха, среди которых виднелась едва прикрытая седыми волосами голова с собранными в бесчисленные морщины гноящимися глазами.

Гостям было не по себе, их все еще мучила морская болезнь, все вокруг качалось и перемещалось, словно и выложенный мозаикой пол палатки колебался от движения воды за его стенами.

И еще одно неудобство – у крестоносцев в головах носились бессвязные мысли, и они никак не могли собраться, чтобы как можно лучше начать переговоры. Маркграф умышленно как можно более шумно захлопал ресницами на обоих глазах. Граф сделал то же, однако лишь наполовину, один его глаз оставался зажмуренным еще с начала похода.

Энрико Дандоло, однако, молчал. В зале было слишком жарко. Несмотря на то что в каналах плавала ранняя осень, в окнах еще стояли летние рамы, увитые ползучей влажной духотой. Правитель Венеции старался хоть так немного согреть свой похолодевший взгляд.

– Энрико, милый наш Энрико! – решил наконец граф Балдуин с подчеркнутой сердечностью, легкомысленно забыв, что далеко не всегда тот, кто начал переговоры, их и заканчивает. – Как ваше здоровье, дорогой друг? Ах, как я рад, что вижу вас, хотя и не полностью! Знаете, я принес моей возлюбленной обет хранить ее образ в закрытом правом глазу до самого Иерусалима и обратно! Вы, сами слепой, можете оценить возвышенность моей жертвы!

– Не обращайтесь внимания, граф не имел в виду ничего плохого, просто у него нет ловкости в обращении! – безжалостно оттолкнул Балдуина маркграф Бонифацио, производя грозные движения руками. – Мы прибыли, конечно же...

И начав говорить, гости уже не умели остановиться. Они говорили и говорили. Слова рассыпались по мозаичному полу, на высоте гобеленов порхали изысканные выражения, предусмотренные этикетом, до самого потолка возносились витиеватые изъяснения уважения, высказали просители и смиренную просьбу – не может ли Республика «в долг» перевезти крестоносцев. Но дож сохранял упорное молчание до тех пор, пока рыцари и последние крупные слова не обратили в ничего не стоящее позвякивание мелочи... Только после того, как и это пустое бряканье затихло, Дандоло вдохнул воздух и начал:

– Дворянам не к лицу быть должниками. Поэтому тридцать четыре тысячи кельнских марок я прощаю. Крестоносцы могут погрузиться на суда. Но пусть они от имени Республики займут Задар, город, дерзко отколовшийся от наших владений.

– Задар?! Но он в стороне от нашего пути?! – перебил дожа граф и выкатил грудь так, будто в какой-нибудь народной мистерии ему достался текст неподкупного защитника самого Божьего промысла.

– Прекрасно! Тогда плывите прямо в Святую землю! – ответил старец и поднял указательный палец. – Вон там, прямо за дверью, открытое море!

Граф сник. Маркграф побледнел до последней степени бледности. Что делать? За стенами их ждали проклятые беспокойные волны. И от одной только незавершенной мысли о них все внутренности рыцарей перевернулись, а кишки скрутила судорога. Предводители крестового похода кивнули головами и в один голос заявили:

– Согласны, договор заключен!

Энрико Дандоло удовлетворенно сложил данные рыцарями обещания в кошелек, который держал у себя за поясом. И поднял морщинистые веки. Вид его взгляда заставил гостей содрогнуться. Густая сеть стеклянных жилок покрывала белки и зрачки старца. Где-то глубоко-глубоко, под ледком болезни, называемой заморозь, трепетало зрение. Маркграф нашел, что глаза дожа похожи на две маслины, кожицу которых съел соленый приморский иней.

V

Ах, вперед же, хоть волны тоску навевают,

Бог пускай мою душу очистит,

Лишь о той, что как солнце на небе сияет,

В этом странствии все мои мысли!

– Наконец-то трувер Канон да Бетюн, после того как немного проветрился от стыда, собрался с силами, чтобы завершить катреном свою «Песню крестоносцев».

Уже через четыре дня после заключения договора на четыре сотни восемьдесят больших венецианских галер с двумя рядами весел вошло четыре тысячи пятьсот рыцарей, девять тысяч оруженосцев и двадцать тысяч пеших воинов. Одновременно с людьми грузили коней, собак и соколов. Доставка на борт навигационных карт, разных талисманов и амулетов, ну и, конечно, канцон, которые прославляют храбрость крестоносцев, продолжалась всю ночь. Флотилия, которой слепой дож управлял, прислушиваясь к разноголосому шуршанию ветров, отплыла на рассвете девятого дня и сразу же взяла курс на свободу отколовшегося Задара. В последний момент к многочисленным боевым галерам присоединилась и одна торговая, та, которая в своей утробе, в корзине, наполненной соломой, перевозила один-единственный предмет, маленький шедевр из стекла – бокал, изготовленный из тончайших отражений в воде венецианских каналов.

В конце того же месяца галеры прибыли к Задару, и в результате мощного штурма он был захвачен и разграблен. Слепой дож, стоя на носу командного судна, согревал свой замороженный взгляд огнем, пожирившим береговые укрепления несчастного города. Антонио Балдела, личный врач Дандоло, с недоверием (и с глубоко запрятанным отвращением) констатировал, что эта страшная картина согревала старца гораздо лучше, чем вся применявшаяся им раньше медицина. Столько лет мучительного обучения в Салерно, столько кропотливого труда, вложенного в сложнейшие рецептуры, столько ползанья по горам и лесам в поисках нужных трав, и вот, одной только этой дикой картины оказалось достаточно, чтобы кровь разыгралась в человеческих жилах. Как бы то ни было, но угли тлели после пожара настолько жарко, что не могли остыть еще полгода, поэтому крестоносцы решили перезимовать в Задаре и только по весне продолжить путь в Святую землю.

В отличие от всех остальных галер торговое судно снова вышло в открытое море и исчезло, окутанное облаком тайны.

VI

Искушение монаха Сава

В таком же густом тумане загадочности хрупкий груз был доставлен на берег в Дубровнике и сразу же, по караванным дорогам, медленно и со всеми возможными предосторожностями начал свое путешествие по горам рашской земли. И где-то в ее глубинах некий магистр Инчириано Квинтавалло, посланник Республики, из рук в руки передал Стефану, сыну святопочившего жупана Немани, верительные грамоты и дар венецианского дожа – бокал из отражений в воде ранней осени, звуков лютни, запаха имбиря и образа девушки. Стоило молодому правителю отпить глоток, как его горлом потекло страстное желание, которое наполнило все тело жаром тлеющих углей. Сам не зная как, он неожиданно полюбил неизвестную молодую даму, которая жила где-то очень далеко. Все, что было ближе этого удаленного места, перестало для него существовать. Евдокию, свою первую жену, он тут же удалил от себя. Из брачного имущества ей позволено было взять с собой лишь немного слез по оставленным детям и одно-единственное сухо обращенное к ней слово:

– Уходи!

Так для Стефана началась жизнь в постоянной жажде, без возможности ее утолить, под грузом страстного желания утопиться в какой-то реке, обрамленной длинношеими церквями и ширококрылыми дворцами, в каком-то канале, в котором, подобно сотням розово-прозрачных медуз, плавали отражения желанного лица.

– Другая вода ему не поможет, спасения нет, его чувства успокоятся, только когда он утопится, – развел руками лучший медикус, приглашенный из самого Эфеса, после того как быстро изучил шесть капель пота с государева лба.

Несмотря на это, и отец Стефана во сне, и его братья наяву, особенно принявший монашество Сава, делали все, чтобы вернуть сына и брата. Даже привели ему новую жену, прекрасную, как утренняя свежесть, однако молодой жупан прикасался к ней ровно столько, сколько требовалось для продолжения рода. И хотя она подарила ему еще троих сыновей, он не хотел знать даже ее имени. Каждую ночь, при свете луны, Стефан тонул в далекой Венеции, вставая весь мокрый, почти бездыханный, посиневший от долгого пребывания в воде. Каждый день, при свете солнца, Стефан горел, охваченный любовной лихорадкой, и дико вращал глазами, как будто что-то страшное мучило его изнутри. Над сербской землей летели зимы, в заветринах пребывали летние месяцы, ветры на звездном Возничем протаскивали по небу осени и весны, а властитель все глубже и глубже тонул в стеклянном бокале. Стало ясно, что медикус не ошибся – с каждым днем Стефан все больше увязал в судьбе утопленника.

Так же как долгое время после смерти у покойника растут волосы или ногти, могут прорасти и его замыслы. Неполных три года спустя после того, как дож Энрико Дандоло заказал изготовить бокал, его уже больше нельзя было причислить к живым, однако то, что он задумал, достигло таких размеров, когда усилия начинают приносить плоды. Регулярно оповещаемые о событиях у сербов и о состоянии больного, венецианцы, узнав, что вода уже достигла его и начала подмачивать ему разум, поняли, что пора наконец нанести решающий удар – послать Анну Дандоло. Ни отец Неманя (во сне), ни братья Вукан и Сава (наяву) не могли отговорить озлобленного Стефана от этой женитьбы. Что же касается другой стороны, то время уже давно внесло изменения в девичьи желания внучки Энрико Дандоло, на ней были тесно скроенные одежды из интересов семьи и Республики. У нее не было никаких чувств ни к маленькой стране, ни к своему мужу, если не считать горячего желания

как можно скорее соединить эту славянскую сухопутную гавань со своей родной Венецией. Великого жупана сербских земель Стефана, безрассудно не желавшего осознавать, куда он плывет, медленно относило все ближе и ближе к Западу, все быстрее и быстрее забывал он материнские источники, ручьи и реки, и даже начал размечать правильные каналы, издавна начерченные на навигационных картах Республики Св. Марка. После того, как он потребовал королевской короны у Рима, а не у никейского патриарха, стало ясно, что рассудок его совершенно подавлен и что им управляют лишь через его тело, купающееся в ласках Анны Дандоло.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.